

ЛЕСЛИ ХАЗЛТОН

МАРИЯ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ЧАСТЬ 1. ЕЕ МИР	10
ЧАСТЬ 2. ЕЕ УТРОБА.....	46
ЧАСТЬ 3. ЕЕ ЖЕНЩИНА.....	89

ВВЕДЕНИЕ

Ей тринадцать. Низкорослая, жилистая, с тёмной оливковой кожей. Едва заметный пушок на верхней губе, мягкие чёрные волоски на руках и ногах. Мускулы на руках тверды, икроножные мышцы имеют четкие очертания.

Её волосы, густые и почти чёрные, издавна покоились в длинной тугой косе — именно так она всегда себя помнила. Тяжесть косы заставляет её держать подбородок приподнятым и ходить с прямой спиной — привычка, которую она приобрела ещё в детстве, когда носила на голове кувшины с водой или связки дров. Здесь не принято сгибаться под тяжестью. Напротив, ты словно укореняешься в земле, черпая из неё силу, и тянешься вверх, будто росток. Чем тяжелее груз, тем выше ты становишься — древняя тайна деревенских женщин, способная облегчить любую ношу.

Её льняная туника, тонкая и давно изношенная, разорвалась, зацепившись за острые камни и терновник. Даже заплатки на ней стали рваными, а изначально глубокий чёрный цвет истёрся и выцвел до серого. На праздники, будь то свадьба или обрезание, она обращается к старым женщинам за яркими шерстяными нитями. Эти женщины слишком слабы, чтобы заниматься чем-то ещё, кроме как сидеть во дворах под нещадным солнцем, ткать и передавать друг другу свои рассказы. Получив желанную пряжу, окрашенную в красный цвет соком марены или в жёлтый — глиной, она вместе с кузинами вплетает нити в волосы. Девушки толпятся, смеются, поддразнивают друг друга, украшая длинные косы узорами. Других цветов у них нет: синяя шерсть, окрашенная индиго, доступна лишь богачам, а в их деревне, как и во всех деревнях Галилеи, таких нет.

Её туника скрывает небольшой округлившийся живот. Незамужняя и беременная, она порой, оставшись одна, складывает руки чуть ниже живота, словно обнимая то, что пока

невидимо, но уже так ощутимо. Она чувствует, как жизнь внутри неё растёт, наполняя её одновременно тревогой и сокровенной радостью.

Её бабушка как-то рассказывала, что пол ребёнка можно угадать ещё до его рождения: если положить руки выше живота — будет девочка, ниже — мальчик. Или, может, наоборот? Она уже не помнит, да это и неважно. Как любая мать, она мечтает лишь об одном — чтобы у малыша было десять пальцев на руках, десять пальцев на ногах, крепкий крик и голодный рот. Ведь это значит, что он здоров, а больше ничего и не нужно в этом нелёгком мире.

Она знает, как тяжела эта ноша. Все молодые женщины знают. Они слышали рассказы старух у источника, когда те моют себя после того, как развесили выстиранное бельё на камнях, и остаются поболтать. Женщины делятся страшными историями, женины, которые восхитительны и жутки в своём кратком обнажении, когда они приподнимают рубахи, чтобы облить водой сморщенные животы и обвисшие груди.

Да, можно умереть при родах. Многие умирают. Особенно при первых родах. Ты можешь кричать часами, даже днями, пока трое женщин не держат тебя, а повитуха, стоя на коленях между твоими ногами, вся в твоей крови, не вытащит младенца на свет. Боль становится такой острой, что ты уже молишь о пощаде любого бога — Исиду, Артемиду, кого угодно, — чтобы облегчить твои страдания. Ты просишь прощения, спасения, хотя никогда не обращаешься к Яхве, Богу богов, слишком великому и далёкому, чтобы услышать молитвы селянки. Ты слышишь, как сама умоляешь о смерти, проклиная ребёнка, который борется внутри тебя, проклиная даже своего мужа и весь его род за то, что они сделали с тобой.

Но эта девушка не боится.

Её зовут Марьям. Имя настолько распространённое в её время и месте, что, если крикнуть «Марьям», отзовётся каждая третья женщина. Латинская версия её имени, Мария, войдёт в повседневное употребление только через четыре столетия после её смерти, когда будет основана всеобщая католическая церковь с центром в Риме. Позднее, в том, что станет англоговорящим миром — а это около двух тысяч лет назад, и английский ещё не существует как язык, — её будут называть Марией.

Даже при жизни её имя теряется в переводе. На иврите, официальном, ритуальном языке её народа, она — Мириам, в честь сестры Моисея, великой жрицы, которая возглавила пение израильтян после перехода через Красное море при исходе из Египта. На греческом, административном языке Римской империи на всём восточном Средиземноморье, её зовут Мариамной — так звали самую любимую жену царя Ирода, хасмонеяку, на которой он женился, чтобы утвердить свою приверженность иудаизму, а потом влюбился безумно и в итоге убил. На коптском, египетском языке, на котором были написаны многие гностические Евангелия во втором и третьем веках, её имя — Мариам. А на арабском, на котором она будет почитаема в восьмом веке в единственной суре всего Корана, названной в честь женщины, её имя — Марьям. То же имя, что она носит, но на другом языке.

Язык, на котором она говорит, – арамейский, язык ассирийцев из древнего региона Арам, расположенного неподалёку от Дамаска, чья могущественная империя господствовала над всем Ближним Востоком за восемь столетий до её рождения. Этот язык вытеснил израильский иврит и множество других местных наречий, став универсальным языком общения восточного Средиземноморья на протяжении более тысячи лет. Он протянулся широкой дугой от нынешнего Ирана до Северной Африки, соединяя людей на земле, где пустыня и пыль, камни и терновник бросают вызов тем, кто пытается вырастить на них хоть что-то. Его многочисленные диалекты объединяют иудеев и галилеян, сирийцев и персов, египтян и арабов, набатеев и идумеев – все народы, племена и нации, живущие под необъятной властью восточной Римской империи.

Арамейское имя важно, имя исходит от Ближнего Востока, ибо история Марьям – это ближневосточная история. Где Мария парит перед нами на облаке ладана, нежная европейка, окутанная шелком, Марьям несет на себе запах жара и пыли, впитавшийся в её кожу и тонкую льняную рубаху. Одна — это легенда, другая — реальная женщина. И если мы хотим взглянуть за пределы легенды, мы должны начать с самого элементарного жеста уважения. Почтим Марию тем, что назовем её настоящим именем — Марьям, именем, на которое она откликалась, именем, которое она считала своим.

Мы исчисляем годы по системе н.э. и до н.э. (Anno Domini — «в год Господа», и Before Christ — «до Рождества Христова»). Эта система была задумана скифским епископом Дионисием Малым в VI веке, разработана Исидором Севильским в VII веке, популяризирована Преподобным Бедой в VIII веке и теперь стала общепринятой во всём мире.

Будь то в еврейском или арабском Иерусалиме, в Каире или Дамаске, в Нью-Йорке, Лондоне, Париже или Токио, мы измеряем время именно так. Мы делаем это настолько легко и автоматически, что редко, если вообще когда-либо, задумываемся, откуда это пошло. С какого это события мы отсчитываем двадцать первый век? С какого явления отсчитываются 1776-й или 2010-й год?

Независимо от того, какую веру мы исповедуем или не исповедуем, мы указываем даты на чеках, счетах, электронных письмах, газетах, новостных выпусках, учебниках истории, днях рождения, годовщинах основываясь именно на это событие, которое произошло на Ближнем Востоке две тысячи лет назад. Этот год в жизни Марьям плавно встроен в повседневную жизнь XXI века. Не имеет значения, если мы заменим это на политкорректные CE и BCE (Common Era и Before Common Era), поскольку "наша эра" начинается с того же момента. Марьям родила, и даже самый стойкий атеист не может представить себе время без её признания.

Как же тогда мы так мало знаем о ней? Она жила в Назарете, это мы знаем. И у неё был сын. За пределами этих скудных фактов она появляется лишь как эпизодический персонаж в евангелиях Нового Завета: озабоченная в храме и на свадьбе в Кане, а в последнем из

них, у Иоанна, скорбящая у подножия креста. Даже тогда она остаётся безымянной, просто «его мать». А Павел? Во всех своих письмах он её даже не упоминает.

Всё остальное, что мы думаем, что знаем, — даже кто были её родители, — это легенды, накопившиеся за века, далеко отстоящие от неё как по времени, так и по месту. И хотя эти легенды великолепны, они действуют так, как, возможно, и должны действовать все легенды: они скрывают всякое представление о том, кем был реальный человек. Каждый новый образ Марии уводил её всё дальше и дальше от реальности Марьям. Она была использована, как неизбежно используются все, кого почитают, для продвижения личных, социальных, теологических, а иногда и политических целей. Она была окутана серебром и жемчугами, увенчана золотом и окружена ангелами. И в этом процессе она просто исчезла. Она стала образом без реальности: виртуальной Марией. Или, точнее, бесконечным множеством виртуальных Марий.

Многие христиане даже не хотят принимать тот факт, что она была еврейкой. И евреи склонны отвечать тем же. В Израиле её называют *Мария ха-кедуш*: «святая Мария». Использование латинского Мария вместо еврейского Мириам — это способ отстраниться от неё, держать её на расстоянии, как бы говоря: «Нет, она не наша». Ещё один способ лишить её реальности.

Какой была эта реальность? Кем она была? Кем ей, вероятно, следовало быть? Кем она могла быть?

Просто задавать эти вопросы — захватывающе. Мы так привыкли к образу, что сама мысль о реальном человеке заставляет глаза гореть, а ум — удивляться. И всё же, именно потому, что каждый из нас, так или иначе, глубоко связан с ней, возникает также и ощущение трепета.

Биограф Вирджинии Вульф Гермiona Ли писала, что читатели дневников Вульф «ощущают необыкновенную близость...Они хотят называть её Вирджинией и разговаривать о её жизни как о своей. Она кажется невероятно близкой, современной, вне времени. Но она также неуловима и загадочна».

Как странно читать такое о человеке, который оставил огромное количество написанного материала, не говоря уже о горах текстов о Вульф, написанных теми, кто её знал, — о человеке, которого мы можем увидеть на фотографиях, который существовал в живой памяти, — в то время как я изучала жизнь женщины, которая не оставила никакого письменного наследия, о которой не сохранилось абсолютно ничего, написанного её современниками. Никаких свидетельств очевидцев, никаких воспоминаний тех, кто её знал, ни даже записи о её рождении или смерти. Такое ощущение, что самая известная и почитаемая женщина в мире никогда не существовала в физической реальности.

Та собственническая привязанность и защитность, которые Ли отмечает в отношении Вульф, проявляются в сто, если не тысячу раз более усиленной форме, когда речь идёт о

Марьям. И это внушает трепет. За те четыре года, которые ушли на исследования и написание этой книги, я отвечала на бесчисленное множество вопросов, задаваемых друзьями и знакомыми, которые знали, чем я занимаюсь, и были полны любопытства узнать, что мне удалось выяснить. Однако я ощущала, что они хотели не столько получить ответы, сколько обрести уверенность. Было какое-то смущение, а может быть, даже неловкость при самой мысли о Марьям как о женщине из плоти и крови. Возможно, ощущение, что это одна из тех фигур, которых не следует трогать. Что было бы лучше оставить её в покое, уступить её мифам и легендам, принять ее установленный церковью образ.

Мне кажется, что источником этого беспокойства является страх, что в результате биографического исследования она может предстать не такой, какой мы хотели бы её видеть. Если убрать ореол, думаем мы, мы останемся ни с чем. И этот страх кажется почти фрейдистским. Образ её как высшей матери – символа материнства, чья физическая сущность была преобразована в метафизическую, – проникает глубоко даже в самое агностическое сердце. Мы трепещем перед мыслью подойти слишком близко, перед перспективой увидеть святое в образе человека.

"Официальная" биография Марьям пережила и процветала на протяжении двух тысячелетий по очень веской причине: она работает. Да, невозможно, чтобы дева родила. И да, именно поэтому эта история работает. Это мистическая история: мистерия как в современном, детективном смысле, так и в более древнем, религиозном, касающемся таинственного и неизвестного для простых смертных. Суть её истории – совершенный парадокс под названием девственная мать. Даже абсурдность вопроса о том, как звучит одна хлопающая ладонь, меркнет по сравнению с этим

Как я могу осмелиться, тогда?

Этот вопрос преследовал меня, когда я начинала писать эту книгу. Как я могу осмелиться даже подумать о биографии кого-то столь близкого, столь неотъемлемой части нашей культуры и в то же время столь далёкого? Как я могу осмелиться искать женщину из плоти и крови за пределами легенды?

Я знала, что простота вопросов о том, кем она была и кем она должна была быть, обманчива. Такие вопросы ведут прямо в минное поле глубоко укоренившихся убеждений, невольных предрассудков, культурных допущений и даже личных интересов. Но как только я задала эти вопросы, их уже нельзя было взять обратно. Я хотела знать. Оставалось только идти вперёд. И хотя у меня не было дорожной карты, я хотя бы имела ясное представление о рельефе местности.

Я жила в Иерусалиме тринадцать лет, работая сначала психологом, а затем политическим и культурным журналистом. Эти годы дали мне свободное владение ивритом, поверхностное знание арабского и умение разбирать больше арамейского, чем я могла

предположить. Но более важно, что они дали мне сильное ближневосточное чувство места и времени.

В большинстве современного мира две тысячи лет назад кажутся вечностью.

В Соединённых Штатах руины Анасази XII века называют доисторическими, и иностранному гостю приходится на мгновение остановиться, чтобы вспомнить: история — понятие относительное. Это же «Новый Свет», и для большинства американцев их история начинается только с XV века.

На Ближнем Востоке всё не так, где то, что произошло две тысячи лет назад, имеет осязаемое присутствие: культурное, религиозное и, прежде всего, политическое. Есть, конечно, и другие места с древним прошлым. Но в Европе, скажем, руины греков и римлян утратили своё религиозное и политическое значение. Туристы могут с лёгкостью восхищаться храмом Аполлона; никто больше не верит в Аполлона. На Ближнем Востоке же ничто, кажется, никогда не теряет своего религиозного и политического значения. То, что в Штатах является доисторией, а в Европе — археологией, — величественные руины, обеспечивающие постоянный поток туристических доходов, — в этой части мира является повседневной политической реальностью.

Эти годы в Иерусалиме либо исказили, либо укрепили моё чувство времени, в зависимости от вашей точки зрения. События двух тысячелетий назад кажутся близкими, знакомыми. Вы живёте с историей, всего в нескольких минутах ходьбы от гигантских тесаных камней подпорных стен храма Ирода в Иерусалиме, его гордости и радости, которые приносили столько же проблем две тысячи лет назад, сколько и сегодня.

Как не обладать широким взглядом на настоящее, уходящим глубоко в прошлое, когда одно-единственное оливковое дерево может быть старше тысячи лет? Как не осознавать того, что произошло на этой земле две тысячи лет назад, когда сами названия мест — Назарет, Вифлеем, Иерусалим, Капернаум, Галилея, река Иордан — знакомы с детства, когда вы знаете их из библейских историй, из рождественских гимнов, из Корана, из Пасхальной Агады, из псалмов, народных песен и духовных гимнов.

Можно было бы подумать, что, живя здесь, повседневная знакомость с этими местами притупит их ауру. Но это не так. Вместо этого вы впитываете их в своё времяощущение. Вы перескакиваете через тысячелетия, вчитываясь в одно лишь предложение, вникая в одну лишь мысль. Виа Долороса — это место, где Иисус нёс крест, и где находится этот антикварный магазин с синим фасадом, полный старых открыток и дешёвых икон из жести. Гора Блаженств, с видом на Галилейское море, — это место, где Иисус произнёс Нагорную проповедь, и идеальное место для ночлега в гостевом доме монастыря. Храмовая гора — это место первого и второго храмов Яхве, но именно два исламских купола — Купол Скалы и мечеть Эль-Акса, золотой и серебряный — создают её величие и красоту сегодня. Каменные полы, подземные лестницы и мрачно выглядящие православные монахини в Храме Гроба Господня, построенном на месте распятия, заставляют киноманов вспоминать классические фильмы Сергея Эйзенштейна 1920-х и 1930-х годов.

Всё здесь — анахронизм, не в обычном смысле чего-то устаревшего, но в более точном смысле чего-то, находящегося не в своём времени. Или, скорее, сразу в двух временах: одновременно в прошлом и настоящем.

Иногда кажется, что прошлого вообще не существует. В этой пропитанной историей части света можно с полным правом утверждать, что история вообще не существует.

Ничто никогда не заканчивается. Ничто никогда не уходит в прошлое. Камни и пращи, оружие библейских историй, были оружием палестинской интифады в конце 1980-х годов. На протяжении многих лет самые популярные израильские сандалии — по сути, просто полоски кожи на кожаной подошве — назывались танахиот, «библейские». Претензии еврейских поселенцев на землю основываются на еврейских текстах, возникших 2500 лет назад. Ненависть и насилие с обеих сторон приобретают эпические масштабы, достойные Ветхого Завета. А в Назарете самым горьким источником напряженности за последние несколько лет, сталкивающим мусульман и христиан друг с другом, была попытка перенести святилище племянника Салах ад-Дина, известного на Западе как Саладин. Племянник был смертельно ранен 4 июля 1187 года, когда войска Салах ад-Дина решительно разбили крестоносцев в битве на Рогах Хаттина, и его привезли умирать в Назарет. Идея переноса его скромного святилища уже сама по себе была бы оскорблением для мусульман; добавлением оскорбления к ране стало то, что перенос планировался ради создания дополнительных парковочных мест для мраморной Базилики Благовещения поблизости.

Таков Ближний Восток. Прошлое отзывается в настоящем; настоящее не может отделиться от прошлого. Здесь нет той дистанции, которая обычно требуется для исторического взгляда. Однако для меня это сжатие времени скорее помогло, чем помешало.

Когда я начала размышлять о том, кем на самом деле была Мария, я могла видеть её отражение повсюду. Не в гипсовых статуях и украшенных золотыми вкраплениями святых образах, не в богато украшенных иконах Восточных церквей и даже не в шедеврах искусства Ренессанса. Это была Мария благочестивого воображения: фигура, отделённая от её времени и места, лишённая индивидуальности и личности, происхождения и идентичности, её языка и даже её настоящего имени.

Но Марьям была очень близко. Я могла видеть её лицо повсюду, куда ни посмотрю. Оно было в оливковой коже и тёмных глазах сефардских еврейских женщин йеменского, иракского, сирийского или египетского происхождения. Оно было в лицах палестинских арабов из небольших крестьянских деревень на Западном берегу — древних территориях Иудеи и Самарии. Оно было в измученных лицах бедуинов, пасущих стада в холмах Галилеи, Иудеи и Негева. Это были ближневосточные лица, принадлежащие людям, говорящим на двух языках, очень похожих на тот, на котором говорила Марьям: на иврите и арабском, сестринских языках арамейского.

Прошло две тысячи лет, но Марьям всё ещё была жива в этой земле.

Знание местности было лишь началом. Я начала углублённо изучать историю, антропологию, археологию, библейские исследования. И чем больше я читала, тем больше меня удивляло, что такой биографии, как эта, до сих пор не существует. Потому что, хотя это правда, что привычных инструментов биографа доступно мало, это не значит, что невозможно приблизиться к Марьям. У нас есть огромное количество знаний об обществах, культурах, религиях и политике Ближнего Востока в первых веках до н.э. и н.э., и всё это помогает расширить наше представление о том, кем была Марьям.

Великий британский историк Р. Г. Коллингвуд утверждал, что написание истории требует как эмпатии, так и воображения. Он не имел в виду выдумывание историй на пустом месте — этого и так уже более чем достаточно в случае с Марией, как со стороны тех, кто ей поклоняется, так и тех, кто стремится её разрушить, — но использование того, что можно знать, и изучение этого, следуя нитям истории, пока они не начнут переплетаться и не образуют плотную косу реальности.

Итак, история начинается в первой части с того, что видела, слышала и переживала Марьям в своей повседневной жизни как галилейская селянка, жившая под иностранным владычеством. Это помещает Марьям в её физический, социальный и политический контекст — в её настоящую культуру — и позволяет нам видеть мир, так сказать, её глазами.

Вторая часть рассматривает все вопросы, связанные с её беременностью, начиная с того, что было известно в то время деревенским акушеркам и знахарям, включая саму Марьям. В этой части изучаем значение девственности и её связь с плодородием. И, конечно, изучаем парадоксальные возможности в отношении отца ребёнка Марьям — будь он человеческим, божественным или даже одновременно и тем и другим.

Третья часть сосредотачивается на Марьям как на матери, но далеко за пределами классического образа Мадонны с младенцем. Начиная с распятия её сына — как мать может вынести такое? — изучаем её роль в погребении и воскресении, где утрата трансформируется в обновление, а затем следует за ней в её активную и плодотворную жизнь в более поздние годы.

Образ, который формируется, совершенно иной, нежели тот, с которым я выросла, окружённая изображениями её в английской монастырской школе, где я училась двенадцать лет: статуи в коридорах, портреты её на «святых образках», вездесущие четки, гимны, призывы... Я выросла, то есть, с безобидным, алебастровым образом. Она всегда находилась в одной и той же позе, стоя с чуть вытянутыми руками, взгляд опущен, мантия спадала с головы на плечи и к запястьям. Скрамная Мария, никогда не показанная беременной, не говоря уже о том, чтобы кормить своего ребёнка. Настолько скромная, что теперь мне это кажется жестокой иронией: монастырь Святого Иосифа был назван не в её честь, а в честь её мужа.

Я принимала её как должное, как делают дети. Конечно, я слышала истории о её явлениях детям в Лурде и других местах. Я даже пробралась в часовню монастыря, чтобы увидеть,

не заговорит ли со мной её статуя в натуральную величину, хотя я сразу поняла, что этого не произойдёт. Не со мной, «еврейской девочкой».

Тогда мне и в голову не приходило, что она тоже была еврейской девочкой.

Это может быть ответом на вопрос: «Как я могу осмелиться?» Возможно, моя собственная биография даёт мне право: как еврейке, которая однажды всерьёз рассматривала возможность стать раввином; как бывшей ученице монастырской школы, которая мечтала стать монахиней; как агностику с глубоким чувством религиозной тайны, но без привязанности к организованной религии. Или, возможно, я беру своё право как женщина, для которой нет героизма в «кротости и смирении», или как психолог, ищущий понимания, или как журналист, ищущий настоящую историю. Но если бы мне пришлось указать один единственный мотивирующий фактор, это был бы старый каббалистический идеал *тикун олам*, «исправление мира».

Вот чего я хочу: я хочу исправить мир Марии и переплести его заново в единое полотно. Вернуть её себе, начиная с её настоящего имени. Вернуть ей её силу и разум, увидеть её такой, какой она была до того, как стала иконой: селянкой, целительницей, патриотом своей земли, матерью, наставницей, лидером — и, да, девой, хотя в этом значении, мы давно ее уже забыли.

Теперь мне кажется, что, возможно, эта книга — мой способ понять, что Мария всё-таки говорила со мной — не позолоченный образ в монастырской школе, а жилистая, смуглая, крепкая Марьям, едва вышедшая из подросткового возраста, когда родила ребёнка, Марьям с лицом, изрезанным тяжёлой работой и ещё более тяжёлым опытом, глубоко отмеченным насилием и борьбой, выживанием и потерей, решимостью и мужеством.

В Марьям нет ничего кроткого и смиренного. Она не бледна, не покорна. Она предстает намного больше, чем мы до сих пор готовы её принять: сильная женщина с умом и способностями, которая активно выбрала свою роль в истории и прожила её до конца.

ЧАСТЬ 1. ЕЕ МИР

Глава 1

Марьям просыпается от шороха предрассветного ветра, резкого и холодного. Перехватывает на ходу кусок овечьего сыра и лепёшку, макая её в *заатар* — молотый дикий орегано, приправу крестьянской жизни на Ближнем Востоке. Наполняет небольшой бурдюк водой из глиняного кувшина, вмурованного в утрамбованный земляной пол сразу за порогом.

Снаружи воздух свеж. Роса покрыла всё тонкой плёнкой, и в полусумраке всё искрится. Она на мгновение задерживает дыхание, машинально осматривая небо. Направление ветра, цвет рассвета, туман в долине или облака на горизонте — любое из этого, а то и всё сразу, определит, куда сегодня гнать стадо. Решение за ней. Её задача — найти среди колючек сносный выпас, в жаркие дни вовремя увести животных в тень, а под вечер пригнать их обратно в деревню на дойку, а затем к роднику, где она будет ведро за ведром поднимать воду и выливать её в каменное корыто, пока жаждущие морды не начнут толкаться за место у края.

Двигается она легко, с непринуждённостью здоровой юности. Тонкие сандалии мало защищают от острых камней и колючек, но на царапины и порезы она не обращает внимания. Заживут. Овцы тёрлись о её бедро, а козы держались чуть поодаль; она подгоняла всех коротким, гортанным «к-р-р-р», помогая прутком акации в правой руке удерживать отстающих. Отойдя от деревни подальше, она подпоясится верёвкой и подоткнёт подол, чтобы ногам было свободнее — тогда можно и за отбившимся козлёнком побежать, и в овраг спуститься за застрявшим ягнёнком.

На просторе хорошо, вдали от нагромождения каменных домиков, пристроенных вплотную друг к другу, с внутренними двориками и узкими ступенчатыми переулками. Крохотные тёмные комнаты имеют лишь маленькие оконца высоко под потолком, и воздух внутри густ от затхлой прелости старой соломы и пота, от запаха сухого навоза — он сложен кучей возле ульеобразной печи — и, конечно, пыли, вечной пыли

Ночью пол плотно уложен телами. Дедушки, бабушки, родители, дети, кузены, дяди, тёти — все лежат плечом к плечу на тонких тюфяках из соломы. Летом, по крайней мере, можно вынести постели на крышу, под тростниковый навес, где сушатся травы и изюм. Там воздух лучше, и слышно всю деревню — соседние крыши недалеко. Знаешь, кто храпит, кто стонет в сладострастии, кто ворочается, кому снятся кошмары, у кого ребёнок нездоров, кто сидит всю ночь без сна, слушая волчий и шакалий вой, тревожное ржание ослов, беспокойное переступание овец и коз в загонах.

Во время жатвы из деревни уходят вовсе. Переносят постели в поля — вниз, в долину, к ячменю и пшенице, — или на каменные террасы по склонам, к виноградникам и оливам. Тогда ночной мир раскрывается: полная луна светит так ярко, что можно играть со своей тенью. Женщина способна при этом свете вышивать; мальчишка — попасть рогаткой в

зайца; пастушка — заметить горного льва; сторож в винограднике — увидеть волка, соблазнившегося спелыми гроздьями.

В такие ночи кажется, будто кто-то рассыпал по всему ландшафту серебряную пыль — небесная богиня, быть может, раскрыла ладони и смеясь смотрит, как она осыпается вниз. Не Яхве — он за пределами воображения. Ему не пристало столь игриво сыпать серебро на галилейские холмы.

Новая луна, когда света нет вовсе, хороша по-своему. Тогда всё небо почти сплошь усыпано звёздами, и Марьям может играть небесного фокусника: встаёт во весь рост, широко раскидывает руки — и вся Млечная Дорога, кажется, струится из одной поднятой ладони в другую.

Бабушка говорит, что если знать астрологию, как знают жрецы в великом храме далеко на юге, в Иерусалиме, то можно читать в звёздах всяческие тайны — счастливые сроки, знамения, будущее... Но Марьям не видит в этом большого смысла. Если судьбы уже расписаны, остаётся лишь принять своё — и всё. А если не расписаны... Ах, если не расписаны...

Она понимает, что это мысли не для крестьянской девчонки, и всё же эти ночи на воздухе, под лунным и звёздным сиянием, дарят ей ощущение возможности: будто жизнь — это не только сидеть и ждать, что должно всё равно случиться. «Таков порядок вещей», — говорят старики, когда она спрашивает, почему мать умерла в родах или почему у двоюродной сестры кривые ноги, и ей приходится ползать. «Так написано», — кивают они, обводя рукой небо. Они говорят с благоговением неграмотных перед тотемной силой письма — и с беспомощным пожатием плеч при виде такой силы: «Что нам поделать?»

Она ещё не уверена, но что-то в ней противится покорности «жребию». Она учится у бабушки, деревенской целительницы: собирает для неё в холмах травы, следит, как та их толчёт и настаивает в масле, ходит вместе к больному ребёнку или накладывает шину на сломанную кость. Целебница не всегда помогает, но Марьям всё равно чувствует: умирать рано необязательно, и калекой жить необязательно. Люди кое-что могут. Могут действовать. Не всё — судьба, даже в крохотной, никому не значимой деревне вроде Назарета.

Назарет, укрывшийся в складке самых южных холмов Галилеи, так срастался с ландшафтом, что его и не заметишь, если не знать, куда смотреть. Немногие знали. Это не было мировое место, как теперь; он ещё не стал домом Иисуса. Настолько незначительным он был для всех, кроме двух-трёх сотен обитателей, что в еврейской Библии о нём даже не упомянули.

Буквально его название значит «малый укреплённый пункт», и, вероятно, именно так он и начинался — благодаря господствующему виду на широкую долину Изреель внизу. Отсюда видны были вереницы верблюжьих и мулиных караванов, медленно тянущиеся по долине: это была продолжение знаменитого Шёлкового пути, главная линия восток-запад от Иордана до Кесарии на средиземноморском побережье. Караваны везли драгоценные грузы

— шёлк, шафран, — роскошь, неведомую крестьянским жителям. Они приходили из иного мира на востоке и уходили в ещё один — на западе. Назаретяне думали о них не больше, чем о весеннем перелёте аистов в высоту: видишь — да не коснёшься. Проходят мимо.

Каменные домики Назарета теснились так плотно, словно держались друг за друга, ища защиты. Как и в десятках других деревушек, рассыпанных по холмам Галилеи, их ставили высоко над дном долины — по одной весьма веской причине: там была вода, на две трети высоты склона. Где родник — там и деревня; где в земле, иссушенной жаждой, есть хоть немного воды, бьющей из камня. Как Наин, через долину к югу, чьё мерцание в ночи — если глаза здоровы и не воспалены — можно было различить по огоньку лампы в дверном проёме, пламя колыхнется даже в неподвижном ночном воздухе. Или Вифлеем — всего в пяти милях вдоль гребня на запад. Не иудейский Вифлеем, что у Иерусалима, а галилейский — больше и старше своего южного тезки.

Все эти деревни были в стороне от «накатанных дорог» внизу — в прямом смысле: тропы выбивались до глины ногами и копытами; первые мощёные римские дороги здесь появятся ещё больше чем через столетие. Верно, Назарет был «всего» в семидесяти милях к северу от Иерусалима, если лететь вороном, но люди — не вороны. Для Марьям те семьдесят миль были как семь тысяч сегодня. Иерусалим со своим великолепным храмом — это другая страна. Даже другой мир.

Тропа, поднимавшаяся из долины, была узкой, вытоптанной, шла по контурам склона, змейкой, длинной чередой крутых петель. Мулы и ослы брали её легко. Люди — тоже, если ноги крепкие и голеностопы сильны. Камни и колючки постоянно царапали ступни, но этого не замечали — разве что шип войдёт глубоко и загноится. Забавно было бы посмотреть на современного атлета из фитнес-клуба, хватавшегося на подъёме за воздух и воду и делающего из этого целое событие. На его специальные «трекинговые» ботинки и модную палку дети сбегались бы поглазеть и посмеяться. Час-другой подъёма в гору — дело привычное. Многие ходят так ежедневно: вниз, к нивам в долине, и обратно, когда свет клонится к закату. Они знают, как работать животом и бёдрами, сохраняя ровный неспешный ритм; шаг идёт плавно от бедра. Знают, что камешек за щекой удерживает губы сомкнутыми и удерживает слюну.

Тропа вела прямо к источнику — туда женщины собирались в дневной зной. Они скользили по высеченным в скале ступеням с большими глиняными кувшинами на голове и нередко с младенцем в перевязи за спиной. Это было сердце деревни, место для посиделок; здесь можно было на минуту представить, будто нет целого мира дел, что ещё нужно успеть до заката. Но даже эта малая роскошь таяла по мере лета: тревога проступала морщинкой у глаз, когда струя становилась всё слабее, иссякала до тонкой ниточки, а в засуху и вовсе исчезала. Тогда оставалось надеяться на застоялую дождевую воду, собранную зимой в деревенских цистернах. Хоть бы питьевой хватило.

В этом климате, где с апреля по сентябрь земля сохнет, трескается, становится костяной — влага значит всё. Язык — даже он — формирует сухость: согласные гортанные, из глубины горла; гласные мягкие и густые, произносятся ртом, прикрытым наполовину. Быть палестинским крестьянином — значит быть мастером сбережения влаги.

Эти люди знали, что значит остаться без воды — бессильно смотреть, как хлеба буреют и вянут. Воду для питья они тянули на себе; спины и плечи знали её тяжесть до унции. Её наливали осторожно из высоких узкогорлых кувшинов у входа в каждый дом, а потом смаковали каждый глоток, поддерживая его во рту.

Ничто не пропадало, ничто не выбрасывалось. Воду после омовения рук и ног выливали на грядки или разбрызгивали по земляному полу и крышам, чтобы прибить пыль. Жмых после последнего отжима олив шёл в удобрение. Остатки после молотьбы шли в набивку тюфяков и валиков. Даже навоз был ценностью: твёрдые волокнистые лепёшки горели ровно и медленно — идеальное топливо для стряпни.

Как и все крестьянские народы, галилеяне жили скупой — и это было в них видно. Они были худы, жилисты; пыль земли была у них в ноздрях, во рту, даже в коже. Въедаясь глубоко в поры, пыль рисовала на тыльной стороне ладоней и на ступнях паучьи ромбовидные узоры.

Жить на жёсткой земле — трудно. Даже если переживёшь роды и младенчество, стареешь быстро. Значит, рожать надо рано.

Беременность в тринадцать лет — на современный слух скандально рано. Воображение рисует истории городских девочек, которые вступают в связь в отчаянном поиске любви и внимания, а потом относятся к младенцам словно к живым игрушкам — дети рожают детей.

«Не может быть, — скажет западный ум, — не про Марию же речь». Если не считать коллективного сознания Ватикана, сохраняющего менее сентиментальный и — как ни странно — более реалистичный взгляд на человеческую физиологию: официальное двухтысячелетие Марии Римская церковь отмечала в 1987-м — за тринадцать лет до рождения её сына.

Оставим пока, что ватиканский счёт неточен — календари за века уточнились... Считать ли год рождения Иисуса академически принятым, хоть и странным, 4-м до н. э. — Христос, рождённый за четыре года до Христа; или более простым, «между 1-м до н. э. и 1-м н. э. на полуночном рубеже»; или, как мы увидим, более вероятным 6-м годом н. э., — один факт остаётся прежним: Марьям было тринадцать.

Почему нас шокирует сама мысль? В значительной части мира и сегодня девочек выдают замуж на пороге полового созревания. А Марьям жила за семнадцать столетий до того, что Филипп Арьес назовёт «изобретением детства» на Западе. Детей видели просто как маленьких взрослых. Возраст считали не цифрами, а делами: «возраст погони за отбившейся овцой», «собираателя растений», «пахаря».

Так было в немалой части палестинских деревень ещё в 1960-е. Ни электричества, ни водопровода, ни уборной внутри. Никаких пластиков, батареек, машин, телефонов. Можно было сесть под оливой и смотреть на террасы по склонам, как крестьянин подгоняет мула, тащащего однозубый деревянный плуг по иссушённой, каменистой почве. И романтическая картинка — на редкость соответствовала факту: сцена прямо из библейских времён. Даже до обманчивой мирности.

Юные девочки пасли коз и овец, вооружённые палкой и редким хриплым окриком. Босиком или в тонких кожаных сандалиях они ступали по камням и колючкам с ловкостью, подсмотренной у своих подопечных. Сам факт, что они пасут стада, означал: они — подростки, ещё чуть и появится менструации. Потому что с началом месячных их выдадут замуж.

Так было и в Библии. Как у крестьянки XX века, так и две тысячи лет назад, замужество приходило рано. Так было необходимо: когда жизнь коротка, надо хвататься за любую возможность продолжения рода. А две тысячи лет назад жизнь была очень коротка.

Верно, есть библейский «долгий век» — в Израиле и ныне поднимают тост «до ста двадцати». Но до ста двадцати не доживает никто — ни ныне, ни тогда. Задолго до метрических книг это была идеализированная мера, образ патриарха или матриарха, который с удовлетворением смотрит на четыре–пять поколений потомков — зримое доказательство «плодитесь и размножайтесь». И звучит это в английском так же полно, как в древнем арамейском и иврите: не короткое «сто», а разлитое «сто двадцать» — полнота ста и ещё вдоволь сверх того.

Чтобы понять, насколько идеализировано это число, не надо заглядывать на две тысячи лет назад — достаточно посмотреть на любую крестьянскую общину сегодня: Афганистан, Сомали, все те страны, которые для многих западных людей еле существуют на карте, пока военная сводка не вытащит их на мгновение в капризный свет мировой сцены.

Цифры леденеют. Один мертворождённый на пять живых. Один из десяти умерших в первый год. Треть — до пяти лет. До полового созревания — меньше половины. И даже у выживших средняя продолжительность жизни во многих частях Азии и Африки — меньше пятидесяти.

Западный мир от таких сроков недалёк. Два века назад, XVIII-вековый Лондон: более половины умерших — до шестнадцати. Лишь десять процентов доживали до сорока пяти — как в древнем Риме. В Массачусетсе XIX века свыше трети женщин умирали к двадцати. Лишь в XX веке, после принятия микробной теории болезней, а особенно с появлением пенициллина и вакцин, жизнь стала тянуться так, как мы ныне считаем само собой разумеющимся.

В древнем Ближнем Востоке до половины детей умирало до пяти лет. Детская смертность была столь высока, что Аристотель в «Истории животных» отмечал: новорождённых не называли по имени до недели — многие не доживали. Роды почти столь же опасны были для матерей. Выкидыши — дело частое, чаще всего от недоедания и болезней. Из тех, кто донашивал, примерно каждая третья умирала в родах от кровотечения или инфекции — часто при первых же. Пять–шесть живорождений — верх для одной женщины, и, поскольку многие дети умирали в младенчестве и раннем детстве, реальная рождаемость была ниже, чем сегодня в индустриальном мире.

Вот почему число «братьев и сестёр» Иисуса у Матфея — четверо братьев и не указанное число сестёр — звучит необычно высоким. Чтобы удержать догмат о вечном девстве

Марии, Ватикан утверждает, что у Матфея речь о кузенах, а не родных братьях и сёстрах. И, возможно, он прав — пусть и по неверной причине. Крестьянские семьи тогда были не «нуклеарными», а расширенными. Двоюродные считали себя братом и сестрой, а дальние родственники были «как кузены», как и ныне. Какой бы ни была девственность Марии — вопрос, к которому мы ещё вернёмся и где ответ далеко не столь очевиден, как думают и верующие, и циники, — в тот период считалось нормальным, когда у женщины до взрослого возраста доживал лишь один ребёнок.

А другой «библейский возраст» — три счёта по двадцать и десять — был уделом ничтожной доли процента богатых и защищённых, и то немногих. У императора-философа Марка Аврелия II века, которого воспитал дед, родители умерли рано, — он сам похоронил девятерых из двенадцати детей в младенчестве и детстве — при лучшей в Риме гигиене, пище и врачевании.

И это — для «нормальных» времён, когда смерть приносила болезнь, неизбежная крестьянская грубая случайность или инфекция: от пореза или гнилого зуба умереть — раз плюнуть. А уж человеческая жестокость делала жизнь ещё короче. Политические перевороты гнали по стране чужие войска, убивавшие без различия между военными и мирными, а распри меж родами разрастались — как и ныне, две тысячи лет спустя (вспомните хуту и тутси, сербов и боснийцев, ирландских католиков и протестантов — лишь немногие из буквальных «до смертного» конфликтов). Тут смертность взлетала за пределы расчёта: по векам и местам — расстрелы, «исчезнувшие», резня мачете, выжженные деревни, массовые распытия, бомбы на рынках, безымянные общие могилы.

Вообразите же идеализм, с которым можно было хотя бы помыслить о жизни до «три по двадцать и десять», не говоря уж о «ста двадцати». Вообразите силу заповеди «плодитесь и размножайтесь», когда плодиться и множиться — столь рискованно, шансы столь недоброжелательны. Кому ещё нужна такая заповедь, как не тем, для кого это под вопросом?

Когда жизнь так коротка, «юности» не существует. В некотором смысле две тысячи лет назад не было и «подростков», как нет их во многих местах и сегодня. Быть тринадцатилетней при столь коротком среднем веке — почти то же, что быть молодым взрослым в современном Западе. Западных людей шокируют тринадцатилетние с автоматами и гранатомётами в войнах Африки и Ближнего Востока — но лишь потому, что для нас детство — данность, а тинейджерский возраст — «старшее детство», мягкий переход к взрослости. Мы забываем: быть подростком — роскошь там, где есть сытость и медицина. Для почти всего мира две тысячи лет назад такой роскоши не было. И потому действовала «социальная демография»: наряду с короткой жизнью высокий риск смерти матери и младенца в родах делал ранние брак и беременность необходимыми для выживания семей и народов.

Тринадцатилетнюю девочку считали женщиной. Менструации начались. Она плодovита, а плодородие — зрелость. То, что мы теперь отмечаем лишь как ритуал — переход к взрослости, отмечаемый конфирмацией или бат-мицвой, — две тысячи лет назад было фактом. В тринадцать она — мать. В сорок — прабабка. А если повезёт выжить — и в

каждом поколении останется хотя бы по одному ребёнку — к пятидесяти она — прапрабабка. Она становится поистине древней.

Большинство галилейских деревень времён Марьям прожили ненамного дольше своих обитателей. Те из них, что укрывали мятежников против римской власти, в считанные десятилетия были превращены в щебень, когда римляне с беспощадной эффективностью подавили всякое сопротивление. Оставшиеся стены осыпались, занесённые ветром верховкой почвы и пылью; за две тысячи лет их так затянуло терновником и кустовым дубом, что вы бы никогда не догадались, что здесь когда-то что-то было, разве что споткнулись бы о скрытый, вручную тесаный камень или подвернули лодыжку в верхней кромке обрушившегося цистернового колодца. До них буквально нужно ****дотыгнуться**** — споткнувшись.

Немногие раскопанные деревни не производят такого впечатления, как куда более внушительные руины Сепфориса — гарнизонного городка в нескольких милях к северу от Назарета, который в IV–V веках разросся в процветающий город. Там можно посидеть в амфитеатре, осмотреть богатые особняки с мозаичными полами, прогуляться по мраморным проходам. Как всегда, переживают века строения богатых; крестьянские дома исчезают, возвращаясь в землю.

По крайней мере, Назарет уцелел — хотя в облике, который Марьям бы не узнала. С распространением христианства он вышел из ничтожности, его застраивали снова и снова, и всё, что оставалось от прежней деревни, опускалось всё глубже и глубже в грунт.

Теперь небольшое городище разрослось вокруг того места, где когда-то была деревня. Здесь живут около шестидесяти тысяч человек — непростая смесь арабов-христиан и арабов-мусульман — под тенью нового еврейского города, Верхнего Назарета, вытянувшегося по гребню холма. Экономика арабского Назарета почти целиком держится на паломническом туризме: десятками выстраиваются туристические автобусы у Базилики Благовещения — безошибочно «пятидесятых» здание с гулкими мраморными стенами, возведённое над раскопанными остатками того, что выдаётся за дом Марьям.

Паломники обычно умолкают, спускаясь в подвал и глядя вниз, во тьму. Поднимаются вверх так быстро, что их молчание кажется продиктованным не благоговением, а разочарованием. В конце концов, смотреть там почти не на что: несколько раскопанных канав, обнажающих грубую каменную кладку и контуры пары маленьких, тесных комнат. Ничего общего с италянизирующими палатиумами на ренессансных картинах Благовещения. Скорее убогая лачуга.

Но сосредоточиться на «вещественных остатках» дома — тем более на доме, чей возраст вообще можно оспорить, — значит не понять сути жизни Марьям. Она была сельской крестьянкой, тесно связанной с землёй. Само слово «крестьянин» восходит к фр. *payсан* — «земляк, из страны/края». И эта крестьянская идентичность была важна не только для её жизни и жизни её сына, но и для его учения. Невозможно по-настоящему понять евангельскую философию — поднятую «соль земли», которой уготовано наследовать царство, — не поняв глубины и широты крестьянской связи человека с местом.

Марьям искренне удивилась бы самой мысли называть «домом» каменные стены. В её мире дом — это не камни, а люди. То, что и поныне по-арабски называется *хамула*: расширенная семья и всё её имущество — земля, скот, урожай. Подобно тому, как в еврейской Библии говорят о Доме Давидовом, а британцы называют королевскую семью Домом Виндзоров, крестьянский «дом» мыслится как нечто гораздо большее и куда более долговечное, чем жилище.

«Домов» в смысле «для одной семьи» не было, потому что не было «одинокных», нуклеарных семей. Дети росли сообща, в кругу родни. Тёти и бабушки были матерями, а тот, кого называли «отец», **абба**, — патриархом, старшим мужчиной, с которым все прочие были связаны кровью или браком.

Разумеется, мы не знаем, кто были ближайшие родители Марьям: в канонических Евангелиях они не упомянуты. Возможно, они умерли, когда она была мала; мать могла погибнуть при родах, и Марьям её вовсе не знала. Такое случалось часто. Легенда же о бесплодной Анне и священнике Иоакиме возникла лишь спустя примерно три столетия, на волне «инфантских евангелий» — беллетризованных апокрифов, которые воображением заполняли огромные лакуны в ранних текстах Матфея и Луки. Эти истории стали чрезвычайно популярны и помогли превратить Марьям в священный образ Марии.

Скажи вы назаретской девочке, что ей «придадут» не только мать в возрасте прабабушки, но и чудесное её собственное зачатие, священническое происхождение и привилегированное детство, — она бы расхохоталась. Или, пожалуй, просто пожалела бы вас как выдумщика. Это богатство поздней, вымышленной подробности было рассчитано на вкус новообращённых христиан в городах Малой Азии, Греции и Рима — далеко от крестьянской реальности Галилеи. Там, в реальности, вас определяли не «личные» отец с матерью, а хамула, деревня, народ. Иначе говоря, вы были тем местом, откуда родом.

Эта связь земли и людей сохранялась веками — настолько, что сегодня Марьям и её сына нередко называют «знаменитыми палестинцами в истории» — утверждение, как и большинство политических заявлений, и верное, и неверное одновременно. Хотя слово «Палестина» ныне эмоционально и политически перегружено, две тысячи лет назад такой проблемы не было. К I веку это название регулярно употреблялось для всей области между Иорданом на востоке и Средиземным морем на западе — то есть территории современного Государства Израиль и Палестинской автономии (Западный берег и сектор Газа). Так его употребляли Аристотель, Овидий и Геродот; так же — иудео-александрийский философ Филон и иудейский полководец, ставший римским историком, Иосиф Флавий (Иосиф бен Матитьягу). Когда император Адриан в 135 году н. э. подавил последнюю вспышку иудейского восстания и объявил провинцию Сирия Палестина, он по сути лишь узаконил существовавший уже у завоевателей обычай — но не у людей, которые на этой земле жили.

Себя Марьям, конечно, «палестинкой» не мыслила. Само имя было чужим — это имя правителей, сперва греков, потом римлян. Оно грубо нивелировало местные различия между Иудеей, Самарией, Идумеей и Галилеей — с их отдельными историями и

этническими корнями — и связывало всё вместе термином «Палестина» для удобства имперского управления.

В Афинах и Риме её, возможно, и считали бы «палестинкой», но в своём мире она была галилеянкой и израильянкой, дочерью Израиля. Потомком великого Израильского царства, возникшего за восемь веков до её рождения и в своё время бывшего больше, богаче и сильнее своего южного соседа, Иудейского царства. И хотя она не умела ни читать, ни писать, историю своей земли знала так же хорошо, как звук собственного сердца.

Долгими зимними вечерами Марьям эту историю слушает. Свадьбы и родины празднуют зимой, когда уборка завершена и есть время радоваться, а повествование в конце пира — такая же необходимая часть праздника, как еда.

Большую часть года жители едят чуть-чуть и просто. Не по убеждению — по нужде. Овцы и козы нужны для молока и шерсти. Мясо — редкое лакомство. Иногда мальчишке повезёт попасть рогаткой в кролика или пару перелётных перепёлок. Или, если кто-то прошёл пятнадцать миль вниз, в Магдалу на Генисаретском озере — и пятнадцать обратно в гору, — бывает вяленая рыба: жёсткая, солоноватая, с городским духом, откуда привезена.

Свежей рыбы Марьям не попробует ещё много лет — пока её сын не пристанет к рыбакам; тогда она посмеётся её влажной мягкости и научится хрустеть самыми вкусными частями: головой, хвостом, плавниками. Но не глазами: рыбаки глаз не трогают — чтобы «дурной глаз» не пал на них.

А зажарить целую овцу или козу — знак большого события. Пирует вся деревня. И, когда сгущаются сумерки, все сходятся вокруг огня. Сытые непривычной насыщенностью животного жира, лепёшками в виноградном сиропе и терпким молодым вином, смягчённым водой, они отдаются напеву сказчика.

В открытом очаге горят обрезки оливковых ветвей, наполняя ночь ароматом. В колеблющемся свете пламени, убаюканные знакомыми строками и ритмами, слушатели могут забыть про колючки, камни и безжалостную летнюю пыль. Про сломанные конечности, слепые глаза и истощённые болезнью тела. Про пороки детей, которым суждено умереть рано. Про семьи, лишённые земли. Про мужчин, что работают подёнщиками в гарнизоне Сепфориса за хребтом, а то и месяцами и годами — в Иерусалиме или Кесарии, так что дети растут с расплывчатой памятью об отцах — как и сейчас растут палестинские дети, чьи отцы уехали на заработки в нефтяные страны Залива и шлют денежные переводы.

На один вечер они снова горды и самостоятельны. Дети жмутся кучкой под тяжёлыми одеялами — грубая пряжа шершавит кожу и одновременно греет. Глаза распахнуты в борьбе со сном, и в них впитывается рассказ о том, как галилеяне восстали против выскочки-царя Давида. И снова восстали против его сына Соломона, который принудил галилейских мужчин к работам на своём храме в Иерусалиме и разорил северные святилища в Сихеме и Бейт-Эле. Они поднялись, отделились и создали подлинную,

израильскую монархию — царский дом Омри — со своей великой столицей и храмом, отделанным слоновой костью.

И дети, и взрослые согласно кивают, зная, что будет дальше: царям и жрецам верить нельзя. Они неизменно предают народ земли, крестьян. И вот восстаёт Илия, великий пророк Севера, из суровой, предельно аскетичной общины Рехавитов. Илия, вышедший из бедных и говоривший за бедных. Живший у Иордана, которого кормили вороны. Носивший власяницу и питавшийся рожками — плодами рожкового дерева. Победивший жрецов Ваала на горе Кармель и низведший дождь. Услышавший голос Бога на вершине священной горы.

«И вот, Господь прошёл, — выводит сказитель, — и великий и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред лицом Господа...»

Все вместе отвечают: «Но Господа не было в ветре».

«После ветра — землетрясение».

«Но Господа не было в землетрясении», — подхватывают.

«После землетрясения — огонь».

«Но Господа не было в огне».

И пауза, прежде чем прозвучит мягко произнесённая последняя строка, которую знают все и без слов шевелят губами в унисон с рассказчиком: «А после огня — тихое веяние ветра».

Рассказов об Илии не устают. Как он умножал муку и масло. Поднимал детей из мёртвых. Исцелял от проказы и слепоты. Предсказывал будущее. Ударил своей священной милотью по водам Иордана и раздвинул их, как Моисей — воды Красного моря. И в конце жизни взвился в вихре и вознёсся на небо на огненной колеснице, оставив милоть преемнику, Елисею.

Дети, разинув рты, тихо засыпают — утешенные знакомыми историями, как и ныне детей утешают истории, которые они любят слушать снова и снова — с теми же словами, теми же интонациями, теми же паузами, в тех же местах, где можно подголоском поддакивать. А взрослые, глядя в огонь, думают не «если», а «когда» явится новый Илия — пророк в лохмотьях, живущий в пустыне, питающийся рожками. Тот, с кем будет говорить Бог, кто создаст пищу из ничего, заставит хромого ходить и поднимет мёртвых. Тот, кто воснесётся во славе на небо.

Так в мире Марьям рассказывали библейские истории задолго до того, как их внесли на папирус или пергамент, и тем более задолго — до изобретения печати. Здесь не различали «развлечение», «историю», «самоидентификацию» и «веру»: рассказы удовлетворяли всем этим потребностям разом. И их произносили вслух, потому что читать умела лишь крохотная верхушка, не говоря уж о письме. В галилейских деревнях не читал никто.

Марьям была неграмотна, как и все вокруг. Неграмотна, но не невежественна. Как замечал Клод Леви-Стросс, в культуре вроде нашей, где эти понятия склонны отождествлять, точнее говорить «без письменности».

Без письма — но с такими силами памяти, о каких мы почти забыли. Парадоксально, но чем грамотнее мы становимся, тем слабее память: раз что-то занесено на бумагу, держать в голове не требуется. Можно вернуться, посмотреть, прочитать. По сути, письмо заменяет память.

«Читай (декламируй)!» — велел ангел Мухаммаду в начале Корана. И Мухаммад декламировал — то, что говорил ему ангел. Он и должен был декламировать: писать он не умел. Коран — *аль-Кур'ан*, «чтение/рецитация» — записали уже после его смерти. Сподвижники учили его наизусть, как и сейчас учат в медресе — и выражение «наизусть» вполне буквально: они принимали текст в сердце.

За четыре века до того центральный текст раввинистического иудаизма возник схожим образом. Мишна означает «повторение»: так и учили тексты, даже после записи. Рукописи были скорее иконами, чем «книгами»: слишком громоздки и драгоценны, чтобы их «читать». Как и ранние мусульмане, ранние ученики-раввины уповали главным образом на память. И многое где в мире так обстоит и сегодня — там, где «устная традиция», как говорят антропологи, жива.

Несколько лет назад я провёл звёздную ночь в песчаных дюнах северного Синая, перекусывая гигантскими оливками и слушая, как бедуинские старейшины декламируют длинные повествовательные «стихи» о звёздах и их преданиях. Они выучили эти «истории» от своих стариков, те — от своих, через поколения. Исполнители спорили между собой дружески, а слушатели становились частью действия — то строку подхватят, то кивком отметят удачную «вариацию», как джазовые знатоки при вдохновенном импровизационном соло на известную тему.

И поразительнее всего было то, насколько «библейски» звучали эти бедуины. На исходе XX века ритмы, образы, целые выражения отзывались эхом через тысячелетия, преодолевая религиозные и национальные разломы Ближнего Востока. «У кого уши слышать — да слышит», — многократно говорит Иисус — фраза, которую я впервые услышал по-арабски от бедуина, рассказывавшего легенду о святом Онуфрии, отшельнике IV века, слышавшем голос Божий в горах Синая.

Для этих традиционных бедуинов «слышанное слово» столь же живо и плодотворно, как две тысячи лет назад. Они бы поняли легенду о зачатии Марии «через ухо» или Иоанново «И Слово стало плотью... полным благодати и истины». В устной традиции слова — *услышаны*, а сама слышимость наделяет их мифической силой.

В грамотном обществе легко забыть воображённую сопричастность, которая рождается из устной речи. И всё же мы её узнаём. Услышав кадиш по усопшим, призыв муэдзина или негритянский спиричуэл, мы откликаемся на ритм голоса. Мы знаем: чтобы по-настоящему

ощутить силу «У меня есть мечта», нужно услышать голос Мартина Лютера Кинга-младшего — и голоса тех, кто ему вторил. Слова оживают в слухе.

Потому мы и говорим о «великих рассказчиках», а не «великих писателях рассказов». Носители — те, кто несёт историю. И вообще, у текстов, которые мы зовём Библией, не было единственных авторов, не существовало «зафиксированных, защищённых авторским правом» редакций. Как сказал лингвист Уильям Уэллон, всё это было частью изначально недифференцированного собрания, которое мы теперь разводим на «псалом, притчу и пророчество». Они принадлежали всей культуре. И пока их не записали, они менялись не только от рассказчика к рассказчику, но и от рассказа к рассказу.

Библия возникла «из ваших уст — в уши Божьи», как говорит еврейская пословица. То, что слышали из человеческих уст, со временем стало Священным Писанием. Но во времена Марьям содержание ещё было текучим: какие книги «внутри» или «вне», какие истории, на каком языке — всё зависело от того, *кто* рассказывает.

Кому-то такой взгляд на «священные книги» покажется тяжёлым. Другим — как мне — освобождающим: можно увидеть в них не застывшие кодексы, а живые традиции. Истории, живущие в устах и в слухе, при каждом пересказе рождались заново; они кувыркалились и плясали в совместной жизни рассказчиков и слушателей, связывая их.

Библейские истории до сих пор рассказывают именно так — как я убедился однажды тёплой весной на северо-западном берегу Галилейского озера.

Я пытался попасть в остатки византийского монастыря VI века, построенного на руинах Магдалы — родины «другой» Марьям. Высокая каменная стена окружала участок, но ворот не было видно. С другой стороны кто-то свирепо лаял — мысль перелезть отпала, и я пошёл вдоль стены к озеру, пробираясь через камыш, пока не вышел к месту, где она доходила мне до плеч. В центре — запертая на цепь калитка. Я крикнул: «Есть кто?» — и за стеной показался человек — первый за всё утро.

Лет шестидесяти, в куфии; трое крупных псов за его спиной рычали и метались, и слишком длинные цепи грозили вот-вот лопнуть.

Я поздоровался по-арабски с еврейским акцентом; он ответил по-еврейски с арабским — и прежде чем я успел сказать ещё слово, произнёс: «Вам нельзя внутрь. Никому нельзя. Таков приказ».

«Чей?»

«Латинов. Тех, что в Капернауме».

«Францисканцев?»

«Их самых».

С ветерком потянуло мятой: оказалось, вся ограда внутри заросла ею, разросшейся бесконтрольно. «Что это за место?» — спросил я, чтобы поддержать разговор.

Он пожал плечами: «Говорят, здесь когда-то жила одна богатая женщина. Очень давно. Звали её Мария Магдалина. Больше я ничего не знаю».

Я посмотрел вопросительно. Он глядел невозмутимо — не выдавая ничего. Тогда мы представились: он — по ту сторону стены, я — по эту. Его звали Хийр, и он был сторожем. Поболтав о том, каково мусульманину работать на «латинов», он сказал: «Если хотите, могу рассказать ещё кое-что о Марии Магдалине».

«Пожалуйста», — ответил я.

«У неё был приятель, — сказал он, — и однажды тот услышал, как говорит очень мудрый человек. Звали его Йешу. Слышали о нём?»

Я кивнул, и, приободрившись, Хийр продолжил:

«Её приятелю понравилось, что говорил Йешу, и он оставил Марию Магдалину, чтобы идти за ним. Она очень опечалилась: её человек ушёл. Тогда она пошла к Йешу и сказала: “Как ты мог увезти моего человека и оставить меня одну?” А Йешу посмотрел на неё и сказал: “Присоединяйся и ты”. И она присоединилась. Вот и всё, что я знаю».

Одна эта последняя фраза говорила, что будет продолжение, но мне придётся набраться терпения, чтобы его услышать. И вот через стену высотой мне по плечо мы заговорили о другом — о том, как все дети Хийра выросли и разъехались, как всё переменялось за девятнадцать лет его службы здесь. Жена вышла из сторожки повесить бельё на верёвку, застенчиво улыбнулась — и снова исчезла. Собаки давно успокоились и лежали в тени. И наконец Хийр предложил рассказать мне ещё о Марии Магдалине.

«Помните, — сказал он, — я говорил, что Йешу сказал ей: может присоединиться к нему и его ученикам? Так вот, остальным ученикам это пришлось не по душе, потому что она была...» — он замялся, подыскивая слова, — «нехорошая женщина, вы понимаете, о чём я?»

Он внимательно посмотрел на меня — понял ли я и не обиделся ли. Убедившись, что всё в порядке, он продолжил:

«Тогда другие последователи сказали: “Как можно позволить такой женщине присоединиться к нам?” И знаете, что сделал Йешу?»

Он дождался, пока я покачаю головой, и повёл дальше:

«Он поднял с земли камень», — тут Хийр наклонился, словно поднимая особенно тяжёлый камень, — «и сказал: “Пусть тот из вас, кто никогда в жизни не сделал ничего дурного,

возьмёт камень и бросит в меня?» И Хийр ударил ладонью себе по виску, чтобы подчеркнуть смысл, и, всё ещё удерживая руку у головы, испытующе посмотрел на меня.

«И никто не ударил его, — продолжил он, — потому что, знаете, мы все хоть раз в жизни сделали что-то плохое, каждый из нас. Не так ли?»

Под этим испытующим взглядом, хотя часть меня была ошеломлена и восхищена тем, как он обернул знакомый рассказ о прелюбодейке и «кто из вас без греха — первым брось камень», другая часть вспомнила о моих собственных проступках, и я, покраснев, сказал: «Правда, так и есть».

Как-то само собой в этот миг мы простили друг друга — без нужды знать, что именно прощаем. Мусульманин рассказал еврею древнюю христианскую историю, и, раз уж её приняли благодарно — в том духе, в каком она была поведена, — он улыбнулся и сказал: «Может быть, если вы никому не скажете, я всё-таки смогу открыть калитку и впустить вас...»

Глава 2

Марьям никогда не бывала в великом храме в Иерусалиме. Верно, позднее появятся истории, будто её с трёх лет воспитывали при храме, но сейчас можно с достаточной уверенностью считать, что она не уходила дальше пятнадцати миль к востоку от Назарета — вниз, через узкую расселину ущелья Арбель, к Генисаретскому озеру.

Ездят туда старики — те, кому годы уже не позволяют тяжело работать в поле. Они исполняют обет совершить паломничество раз в жизни, как мусульмане поныне ездят в Мекку. А вернувшись, пользуются почётом — подобно тому, как почитают сегодня мусульманского хаджи.

Они — путешественники, вернувшиеся из дальних стран, и привозят с собой вести и рассказы. Виденное собственными глазами, услышанное собственными ушами. Деревенские сидят вокруг них допоздна, ошеломлённые их описаниями. Стены такие высокие, что достают до неба! Мрамор такой белый, что слепит глаза! Золото, сверкающее, как огонь в полуденном солнце!

Но больше всего назаретян поражает вода: сама мысль, что воду можно расточать — демонстративно, напоказ, — знак богатства куда выше золота и серебра.

«Вода повсюду!» — восклицают старики, сухие руки их широко размахивают, словно по сухим холмам и пыльным склонам вокруг и вправду побежали потоки. Огромные бассейны для омовений паломников — чтобы очищались перед входом во дворы храма. Вода, бегущая по лоткам вдоль каменных полов. Высокие «водяные деревья» во дворцах царя — как ещё объяснить фонтаны тем, кто их никогда не видел? — и диковинные деревья, что не дают ничего, кроме тени: никаких плодов, только тень!

Марьям, как и все деревенские, ошарашена самой идеей такого количества воды, что можно погрузиться в неё целиком. Да, в дождливые зимы лужи собираются в западинах на склонах, и она, как и прочие дети, бросается в них одетой, смеясь и плескаясь меж коз и овец, выстроившихся по краям. Но все знают: через неделю-другую вода исчезнет, и западина снова станет потрескавшейся глиной и пылью.

А уж что касается «текущих вод»... Она ахает, слушая, как старики описывают акведук, что ведёт воду в храм за многие мили. Вода, бегущая высоко в воздухе по каменным колоннам и аркам? Невероятно — и всё же старики клянутся всем святым, что видели это собственными глазами. Огромные искусственные пруды собирают зимние дожди со всех окрестных холмов, говорят они, а затем акведук подаёт их к великому храму. Там вода течёт по желобам и стокам: смывает кровь с жертвенника, питает омовенные купели, фонтаны и «деревья» во дворце царя, наполняет гигантские цистерны под храмом.

«Не ключ, как у нас?» — спрашивает кто-то, и старики смеются. В Иерусалиме тоже есть источник — Силоамский, в нижней части города, — но его не пьют. Он для исцеления, как и подобает святому месту. Больных и калек несут на носилках по узким, крутым лестничным улочкам к крытому портику над источником — с отверстием в кровле, открытым в небо. Здесь, рассказывают старики, вода смывает болезнь. Уносит её и возвращает обратно в землю. И они присягают домами своих отцов, что видели там чудеса: человек поднялся с носилок и пошёл; у девочки прояснились глаза, и она вдруг увидела; кожа прокажённого стала чистой и мягкой.

«Чудесная вода», — называют её старики, и крестьяне, для которых сама вода часто сродни чуду, согласно кивают.

Для крестьян знак почтения — предложить воду. К примеру, омыть ноги уважаемому гостю, переступившему порог твоего дома. Мусульмане и сейчас омывают ноги перед входом в мечеть. А паломники поныне целуют камень в Храме Гроба Господня, где Мария Магдалина омыла ноги Иисусу. Что с того, что женщина из Евангелий Луки и Иоанна была вовсе не Магдалина — и дело было не в Иерусалиме? Крестьянский обычай возведён в святой образ, и почтение сухой земли к воде сохранено.

Назаретяне могли лишь изумляться водяному размаху Ирода. Неважно, что вода в тех иерусалимских купелях для омовений была грязной от пыли и пота множества тел. Едва заметная рябь шевелила поверхность, когда из акведука подтекала свежая струйка, но и этого хватало, чтобы назвать её «живой водой» — текучей, как требовал храм. Её назначение было ритуальным, не гигиеническим, и больше всего поражало деревенских как раз это: вода может служить вовсе не человеку, а одному лишь божественному. Сама вода — жертва Яхве.

Но правда и в том, что вся эта вода в иерусалимском храме нужна была не только для очищения. Не только чтобы поить тысячи чиновников и культа-служителей. И не только чтобы выставляться напоказ во дворцах и садах, впечатляя простаков с севера. Она была нужна для самого практического дела: смывать кровь.

Жертвоприношение — грязное занятие. Воздух храма густ не только от ладана, но и от вони подсыхающей крови, едкого дыма горящего мяса и вони гниющих внутренностей. Крики забиваемых животных — испуганный писк птиц, тревожное блеяние и мычание ягнят и телят — гуляют под колоннадами. Жрецы испачканы, их одежды забрызганы кровью, бьющей из перерезанных горл, пропитаны жиром от вечно пылающего на жертвеннике огня. От жара и тяжёлой работы они покраснелись и вспотели. И среди всего этого шума и сумятицы они делают своё дело с суровой собранностью, слаженно, как на мясоперерабатывающей линии.

Как бы ни ужасала современный вкус эта мысль, храм был бойней. Как и во всех святилищах той поры, сердцевиной ритуала была жертва, а жертва — это кровь. По-еврейски жертвенник — *мизбэах*, буквально «место заклания», а сам храм звался *Бейт ха-Зэвах* — Дом заклания. Эвфемизмов тогда не любили.

Жертва — попытка умиловить неумолимое: божество. Добрых богов, какими станет Иисус, не знали. Особенно греческие — непредсказуемые, гневливые, мстительные. Играют людьми, действуют, как вздумается. Их не умолишь — можно лишь приносить и надеяться.

Иерусалимские священники действовали так, как действовали жрецы по всему Средиземноморью. Перерезали горло, ловили кровь в серебряные чаши, выливали её на землю вокруг жертвенника, потом вынимали внутренности и откладывали лучшие куски на собственные столы. Голубей и других птиц использовали целиком, но от ягнёнка или телёнка на огонь шёл лишь бедренный кусок, обёрнутый жилой, заключённый в двойной слой сала и посыпанный ладаном. Бросали его в пламя — и жир с ладаном взметали трескучие искры, громко и зрелищно. Дым клубился над позолоченными и беломраморными стенами — не только от самой жертвы, но и от пламени, которое вспыхивало каждый раз, когда жрецы подсыпали особую соль *маалэ ашан* — «подниматель дыма», чтобы вид жертвоприношения был ещё внушительнее.

И так — без конца. *Тамид*, ежедневная «пища Яхве», дважды в день; всесожжение (*holocaustum* по-гречески); сколько угодно жертв мирных, за грех, благодарственных, повинных, очистительных; дважды в день — за римского императора, что было постоянной обидой для пуристов вроде фарисеев и ессеев; и, конечно, тысячи жертв паломников ежедневно в праздники.

Для крестьян это были жертвы в обоих смыслах. И ритуальные, и тяжёлые денежные. Агнец исключался — «без порока» могли позволить себе только богатые. Но даже безупречный голубь, купленный у голубятников на храмовом базаре, стоил всех твоих денег. И вдобавок к финансовому унижению твоя жертва принималась в молчании — кроме треска искр и пламени. Молитвы в ритуал не входили: ничего «личного» в нём не было. Яхве — за пределами личного.

Если всё это звучит как из иного мира — стоит помнить: жертвоприношения продолжаются. Не человеческие — рассказ об Аврааме и Исааке должен был означать конец тому — а животные. В мусульманской традиции на Ид аль-Адха каждая семья режет

овцу — в память о принесении Ишмаила (поскольку по мусульманскому преданию, приносили едва не Ишмаила, а не Исаака). В одной только Турции на Ид аль-Адха ежегодно закалывают два с половиной миллиона овец, коров и коз; треть мяса идёт нуждающимся. Один посетитель писал: «Целые семьи выбирают идеальную жертвенную овцу или корову — почти как американская семья выбирает идеальную рождественскую ёлку».

И если иудеям и христианам вдруг захочется почувствовать себя выше в этом отношении — вспомним, что христианство основано на последнем великом ритуальном акте человеческой жертвы — Иисусе; а иудеи поныне отмечают пасхальный седер с голенью пасхального агнца, кровью которого предки помазали косяки дверей, чтобы ангел смерти «прошёл мимо» их домов, поражая первенцев Египта. Мы куда ближе к Ближнему Востоку двух- и трёхтысячелетней давности, чем многим кажется.

Те тихие, торжественные места, которые мы теперь называем храмами, соборами и домами молитвы, стали такими гораздо позже. И в отношении жертв, и во всём остальном иерусалимский храм был детищем своей эпохи. Огромный комплекс вмещал неисчислимое множество занятий: местное и центральное управление, суды, нищих, торги скотом, целителей, учителей, книжников, бани, гадалок, писцов амулетов, астрологов, закусовые, водоносцев, торговцев тамарином, разливающих гранатовый напиток из больших бурдюков в маленькие серебряные чашечки. И, конечно, солдат — на крышах и в крепости Антония, примыкающей к храму. И меновщиков, чтобы обменять любые ваши деньги на единственную монету, которую принимали в храме, — шекель. И, как в любом ближневосточном суке сегодня, переулки туристических лавок — где с помощью яркого китча отнимают у паломников непривычные им монеты.

Чему удивляться базару на храмовой территории? Тогда храмы были центрами жизни, а не «богослужения». Во многих местах так и поныне. Вспомните комплекс Сэнсо-дзи в Токио: вы продираетесь через вереницы лавок, где продают не только травы, амулеты и молитвы, но и дорогие шёлка, дешёвый район, гребни из слоновой кости, пластиковые заколки, традиционных кукол, электронные игры, свежеподжаренные рисовые лепёшки, банки холодного чёрного кофе, кожаные кошельки, плетёные сумки, нейлоновые зонты, бумажные зонтики — всё на каких угодно цветах и ещё сверх того; японская страсть к «цацкам» буйствует повсюду. И вдруг вы выходите на свет, и вот он — сам храм, величаво прекрасный. Перед ним — огромная решётка с пастями-прорезями для монет, которые принято бросать, и гигантский каменный чан для ладана, вокруг которого толпятся люди — девчонки на невероятных платформах, серьёзные бизнесмены, элегантные дамы в костюмах от Prada, парни в бейсбольных футболках, старушки в японском эквиваленте платочков, — все овевают целебный дым над головами, плечами, руками, грудью, спиной — где болит.

Ничего тихого и полутёмного в таких храмах нет. Они кишат жизнью — и сама эта жизнь свидетельствует о живучести веры.

Старики из Назарета на паломничестве видели людей больше, чем могли себе представить. Для крестьян из деревни на двести–триста душ толпа в тысячу — уже необъятна, что уж говорить о десятках тысяч, наполнявших узкие иерусалимские улочки в праздники.

Представьте крестьянина с севера Афганистана — без телевизора и видео — которого внезапно поставили на Пятую авеню в Манхэттене. Кто мог вообразить такие высоты зданий, такой поток экипажей и повозок, такие диковинные товары в лавках? Этот гул, звон, нескончаемое бурление и толкотня? Эти щегольские дамы и господа — как создания с другой планеты — с мягкими руками, гладкими лицами, сытыми животами, в шёлках и невообразимо мягкой шерсти?

В праздничные дни в Иерусалиме слышалась такая россыпь диалектов арамейского, что назаретяне едва понимали каждое второе слово. Некоторые были с кожей столь тёмной, что их почти не видать в ночи; другие — со столь бледными лицами, что казались светящимися в темноте.

Старики пытались описать странное ощущение монет в руках и ухищрения менял, которые вели непостижимый счёт, меняя римские деньги — с чеканом императора Августа, человека, осмелившегося назвать себя богом, — на храмовые шекели. И деревенские качали головами от самой идеи превращать еду и травы в бронзу и серебро — вместо их простого, прямого менового обмена.

Они вглядывались в отблески огня, зачарованные рассказами о ночах Иерусалима. Света столько, говорили они, что звёзд не видно. Масляные лампы повсюду — будто в мире олив хватит, чтобы изгнать не только темноту, но и ночь как таковую. Весь храм светится изнутри — не одинокими огоньками, как у нас, а целыми канделябрами, сотнями ламп на одной цепи.

И на каждый вздох, на каждое ошеломлённое «ах!» с недоверием деревенские реагировали ровно так, как и рассчитывал Ирод: он перестраивал храм не столько как свидетельство божественной силы, сколько как витрину собственной.

Иродов храм был, по меткому определению историка и социолога Ричарда Хорсли, «монументальным институтом религиозно-политической пропаганды». Один из самых амбициозных строительных проектов своего времени, он заставлял прежние храмы на этом месте казаться сельскими часовнями — возможно, таковыми они и были.

Выстроенный в грандиозном эллинистическо-римском стиле, храмовый комплекс — дворы, крытые галереи, колоннады — возвышался на высокой платформе. В центре, над всем остальным, белел в ближневосточном солнце мрамор, а позолота пылала, как огонь: святилище, содержащее Святая святых — дом Яхве. Войти туда мог только первосвященник — через тяжёлые кипарисовые двери, украшенные гигантской золотой лозой с гроздьями величиной с человека — и только в самый священный день года, Йом-Кипур. Большинство же могло приблизиться лишь к двору перед жертвенником — просто огромной известняковой плите. Это был исходный пик горы. Та самая плита, на которой Авраам возложил Исаака/Ишмаила для жертвоприношения и с которой почти семь веков спустя Мухаммад вознёсся в ночь на небо.

У подножия ступеней, ведущих к жертвеннику, и остановились старики из Назарета, когда передали своих птиц слугам священников. Но и это входило в задумку: дистанция — знак

благоговения; подойдёшь слишком близко — и простой смертный навлечёт гнев потревоженного божества.

Даже священники были недостижимы: их удавалось лишь мельком увидеть — за тяжёлой работой у жертвенника или на ходу, когда они шли из своих особняков на противоположном склоне. И более всего поражал солнечный блеск, отражающийся от их нагрудников, усыпанных драгоценными камнями. Жили они, говорили, как цари — как сам Ирод, — со слугами и рабами, с собственной стражей и многими жёнами, позволительными лишь богатым. Быть из священнической знати — значило быть аристократом. А быть аристократом — значило «делить» несметные богатства храма.

Коррупция была вшита в систему — даже на самом мелком уровне. К примеру, торговля голубями была монополией родственников первосвященника Анны; вскоре его сменит зять Каиафа. Как всякая монополия, это сопровождалось мздой и грабительскими ценами. Храмовая казна — в крепких хранилищах глубоко под землёй — ломилась от золота, которое привозили иноземные цари и сановники. Много оседало в руках и домах первосвященства, многое выводили за пределы страны — к родственникам в иудейских общинах Александрии, Антиохии или Вавилона — на случай, если массы взбесятся настолько, что аристократии придётся бежать. Сегодня ту же роль играют швейцарские банки.

Опасались первосвященники и их семьи не зря. Кто знает, что вытворят толпы в праздник? Праздники — время выпускать пар. Паломники делали то, что люди всегда делают вдали от дома, в обстановке анонимности: пили, веселились — и иной раз, «подогретые», устраивали беспорядки.

Не «религиозно»? По меркам современного Запада, возможно. Но в большинстве мест и эпох религиозные обряды и праздники не идут рука об руку с тем благочестивым благоговением, которое мы склонны связывать со «церковью». Африканские и азиатские традиции куда «земней» празднуют. Богослужения шумны и радостны: праздник — это по-настоящему пир, а «фестиваль» — подлинно «праздничный». И всё это — в русле религиозной традиции.

Древние греки искали экстаз в питье и травах, плясках и песнях — искали опьяняющую радость соприкосновения со священным. Мы забываем, что «энтузиазм» происходит от греч. **entheos** — «в Боге», «обожённость». И Иерусалим в праздничные дни был полон таких «энтузиастов».

Учителя и целители, самопровозглашённые мессии с «ключом» к спасению, маги и проповедники, мудрецы и безумцы — все собирались в великом «Дворе израильтян», очень похожем на большие открытые дворы крупных ближневосточных мечетей сегодня. Там учителя встречались со своими учениками, сидели кружком и обсуждали вопросы, которые мы теперь разводим на «философию» и «богословие», хотя тогда это было, по сути, одно и то же. Ученики обращались к ним **рав-и** — «мой великий», «мой наставник», — почётной формулой без специфического религиозного смысла, которым она обзаведётся лишь века спустя. Со временем это слово станет в английском «*rabbi*».

Это были фарисеи — предтечи раввинистического иудаизма. Они вовсе не «злодеи», какими их позже выставят евангелисты, а идеалисты, чья философия была очень близка к учению Иисуса; до такой степени, что некоторые учёные утверждают: сам Иисус мог быть фарисеем. Уж точно его проповеди и воззрения во многом отражают учение легендарных фарисейских мудрецов I века, вроде Гиллеля, порой почти дословно.

Такие учителя нередко резко выступали против развращения иудейской традиции в эллинистическом храме — примерно так же, как имамы в Саудовской Аравии могут сегодня осуждать, по их мнению, государственное искажение исламской традиции. На территории храма они проповедовали против того, во что он превратился: в машину религиозно-политической пропаганды. «Это не настоящий храм, — говорили они. — Это этическая пародия — подношение полуиудея Ирода своим римским хозяевам. Это чужеземная мерзость, управляемая первосвященнической верхушкой — саддукеями — на службе у Рима и у Ирода, римского вассала и марионетки».

Пока они говорили, собирались толпы — и разбегались при первом признаке, что к ним движутся солдаты; разве что среди проповедников попадался особенно вдохновенный, «особенно исполненный Бога», — тогда его экстаз заражал слушателей, и они были готовы к столкновению. Стычка могла за считанные минуты перерасти в бунт, а бунт — в небольшую резню. Выживших уводили в цепях — и больше никто их не видел. Или хуже: как случилось со сорока учениками и их учителями в год, когда Ирод умирал, — их сожгли заживо после того, как они вырвались из храмового двора к главным воротам и свалили огромного золотого орла, которого Ирод велел установить там как символ римского владычества.

Саддукеи и фарисеи были двумя основными «деноминациями» еврейства того времени — но не единственными. В Самарии, между Иерусалимом и Галилеей, самаряне ревниво хранили свои собственные яхвистские традиции, а ессеи, уединившись в своей пустынной твердыне у Мёртвого моря, грезил об апокалипсисе и планировали вернуть себе храм и очистить его. Между этими и другими течениями быть иудеем две тысячи лет назад значило быть ещё более расколотым и политически разделённым, чем быть израильтянином сегодня.

Марьям, разумеется, была иудейкой — но не по каким-либо современным определениям. Она вовсе не была, как презрительно назвал её куратор одной израильской музейной выставки о древних богинях, «хорошей еврейской девочкой». По пятницам вечером она не зажигала свечи и не благословляла халу. Она не сидела скромно на женской галерее синагоги, пока мужчины внизу кланялись в талитах. Всего этого тогда ещё не существовало. Молитвенные покрывала носили лишь священники. И не было ещё синагог в том виде, в каком мы их представляем: греческое слово «синагога» означало место сельского или городского собрания, а не богослужения. В Палестине I века единственным официальным местом культа был великий храм Ирода.

Иудаизм в его нынешнем виде, раввинистический, ещё не возник. Вообще «религии» в нашем смысле слова тогда не существовало. Спросите у Марьям, какой она веры, — и она

установилась бы на вас в недоумении. Такой категории не было. То, что мы на Западе теперь разделяем на религию, политику, этничность и культуру, было столь тесно переплетено, что различий между ними не проводили.

«Еврей» — *йехуди* и по-арамейски, и по-еврейски — буквально «человек из Иудеи», *Йехуда*. «Иудейскость» была этнической и национальной идентичностью, а иерусалимский храм, признававший Яхве верховным Богом, — цементом, скреплявшим эту идентичность.

С точки зрения современного Ближнего Востока это вполне узнаваемо. В Израиле в удостоверениях личности есть графа *ам* — «этническая национальность»: «еврей» пишут для граждан-евреев, «араб» — для граждан-арабов (и христиан, и мусульман). Благодаря влиянию религиозных партий в законе нет различия между еврейской «этничностью» и еврейской религией, что делает Израиль куда более типичной ближневосточной страной, чем многим израильтянам хотелось бы признавать. Тем временем исламские фундаменталисты в Египте и Саудовской Аравии утверждают, что при исламском праве отделения религии от государства быть не может; их ультраортодоксальная трактовка ислама и есть их политика, а их риторика против саудовского дома Сауд или египетского президента звучит очень похоже на ту, что в Иерусалиме две тысячи лет назад обращали против саддукейского первосвященства и Ирода. Как нигде, религия на Ближнем Востоке до сих пор неразрывно переплетена с национализмом.

Марьям, однако, не была «еврейкой» ни в современном смысле иудаизма, ни в древнем смысле «жительницы Иудеи». Она была галилеянкой, а у Иудеи и Галилеи за плечами долгая история взаимной неприязни — почти на девятьсот лет, со времён их существования как отдельных царств. Северное царство Израиля охватывало всю Галилею и было богаче: там выпадало больше дождей, земли были плодороднее и ближе к основным торговым путям Шёлкового пути, — вероятно, потому оно и пало первым, завоёванное ассирийцами в VIII веке до н. э. Южное царство Иудея продержалось ещё двести лет, пока его не взяли вавилоняне. Пророки Иудеи объясняли падение Севера идолопоклонством — и женщиной. Как Ева повлекла падение из Эдема, утверждали они, так царица Иезавель со своими Вааловыми жрецами привели к падению Израильского царства. Но в реальности причины были столь же геополитическими, как и сегодня: живёшь на перекрёстке — будь готов, что по тебе будут ходить.

В одном лишь XX веке палестинцы загибают пальцы, перечисляя оккупантов: турки, британцы, иорданцы, израильтяне. Древние иудеи и галилеяне считали тысячелетний ряд: ассирийцы, вавилоняне, персы, греки, селевкиды, парфяне, римляне. А галилеяне добавляли ещё одного — иудеев. Галилея была завоёвана иудеями в 128 году до н. э. — Иоанном Гирканом, внуком Иуды Маккавея, из династии Асамонеев (по-гречески и затем по-английски — Хасмонеи). Они захватили власть в Иудее почти полвека до того, подняв восстание против греко-сирийских селевкидов и заявив, что возвращают Иудею к «чистой» вере, свободной от эллинского влияния. Впервые за более чем пять веков Иудеей вновь правила независимая династия. Но всё пошло по знакомому сценарию: начавшись как похвальное освободительное движение, дело выродилось в алчную экспансию.

Хасмонеи были жестоки не меньше чужеземных завоевателей. Они силой присоединили Галилею — разграблениями, порабощением, резнёй. И, подобно Соломону за сотни лет до того, разрушили восстановленные северные храмы Яхве, чтобы единственный оставался в Иерусалиме, в Иудее.

Крестьянские хозяйства Галилеи затаились и стали ждать. Есть арабское слово *самуд*, которое палестинцы употребляют и сегодня; его переводят как «стойкость», «непреклонность», «оставаться». Оно выражает простое решение: не сходить с земли, не уходить. Но в нём и глубокое историческое чувство: правители приходят и уходят — их можно пересчитать десятилетиями и веками, — а если люди остаются на земле, земля принадлежит им, как бы её ни называли сильные мира сего.

Галилеяне остались *самуд*. Хасмонеи оказались очередной властью в длинном ряду чужих, как бы они себя ни именовали — и, разумеется, оказались столь же недолговечны. Ослабленные междоусобицами, через три поколения они были побеждены Иродом с благословения Рима.

Галилея оставалась «официально» частью Иудеи, но народ вовсе не считал себя иудеями. Как всегда, они видели в себе израильтян — истинный народ Израиля. И многие особенно остро ощущали культурную разницу, когда слышали рассказы о новом Иерусалимском храме. Старики могли благоговейно умолкать, дети — сиять глазами, словно на сказке; но молодые взрослые, чьи идеалы ещё не стёрлись тяжёлым трудом и болезнями, чаще приходили в ярость. Подобно пуристам-ессейцам в пустынной твердыне долины Мёртвого моря, они видели в иудейском храме растление израильских ценностей и веры. Они могли жить «по законам иудеев», как писал историк Иосиф Флавий, но — тогда как и теперь — законы не властны над умами, особенно над упрямо независимыми умами вроде Иоанна Крестителя.

Саддукеям было суждено исчезнуть к концу I века. Катастрофическое восстание против Рима, начавшееся в конце 60-х годов н. э., завершилось разрушением Иродова храма, изгнанием иудеев из Иерусалима и концом саддукейской гегемонии. Без храма у них не было власти. Лишь тогда слово *йехуди* — по-гречески *иудайос* — начнёт означать любого, кто почитает Яхве и соблюдает его закон, а не «народ из Иудеи». Религия в нашем современном понимании вот-вот должна была возникнуть.

В отсутствие физического храма раввины II–III веков унаследуют мантию фарисеев и начнут «восстанавливать храм в мыслях», создавая Мишну. Но ещё до того, как храмовые здания вспыхнули — известковый раствор между гигантскими каменными блоками горел так яростно, что камни трескались, лопались и рушились, — уже созидался иной «умственный храм».

Подлинная революция движения Иисуса заключалась в том, что место, где прежде видели центр всякой силы и святости, теперь можно было обрести в каждом человеке. Первоисток этой идеи — у ессеев и ранних иудейских гностиков; но впервые к массовой аудитории её донёс именно Иоанн Креститель — не как интеллектуальную или метафизическую конструкцию, а как часть широко распространившегося крестьянского «восстания» ума и

духа. С крещением каждый мог стать частью храма — независимо от сословия, этничности, рода, пола, достатка. Храмом были люди — община Израиля, а не камень.

Это было радикально. Глубоко подрывало устоявшийся порядок, ведь не делало различий между богатыми и бедными, грешниками и «праведными», мужчиной и женщиной: каждый мог быть частью храма на равных. Идея неизбежно станет «ересью», когда движение Иисуса превратится во «владенную» церковь во II–III веках. Она вновь всплывёт лишь через тысячелетие — в мистическом иудаизме, в представлении, что мир насквозь пронизан искрами божественного света — осколками сосуда творения.

Каббалистический рассказ о том, как эти осколки рассеялись, особенно утешителен — даже трогателен — в смутные времена. По сути, Бог оступился. Мир — результат божественной оплошности, мгновения ошеломляющей неловкости, когда Бог выронил сосуд со светом творения. Сосуд разбился на черепки, рассыпав божественный свет во тьму и хаос; мир станет целым лишь тогда, когда эти искры будут спасены из тьмы и соединены вновь. Ради этого придёт Мессия — итоговый *тикун олам*, «исправление мира».

В Палестине I века именно этим и пытался заниматься Иоанн Креститель — а вслед за ним Иисус. И противники быстро уловили революционную угрозу. Храмовый культ по сути был исключительным: обряды совершали избранные из числа священства, а все прочие лишь платили им за служение. Проповедь Крестителя, напротив, была включающей: каждый человек значим, «учитывается» в великом раскладе и меняет мир. Храмовый культ держался на происхождении, богатстве, влиянии; народный — на вере и решимости.

Каждый — выражение божественного? Кто бы он ни был? Сама эта мысль была дерзким вызовом тем, кто претендовал на монополию на Бога: первосвященникам, аристократии, даже императору, объявившему себя божественным. И именно по этой причине Креститель был убит.

История о Саломее и «семи покрывалах» — соблазнительна: деталей в ней ровно столько, чтобы легенда жила. И удобна — снова перекладывает вину на женщину: Иродиаду, мать пляшущей Саломеи. В евангельской версии Иродиада лелеяла желание получить голову Иоанна после того, как он осудил её брак с Иродом Антипой, сыном Ирода Великого и правителем Галилеи после смерти отца в 4 г. до н. э. Поскольку прежде она была женой сводного брата Антипы, такой брак противоречил закону Яхве, и фарисеи, конечно, осуждали бы его. Но на деле головы Иоанна желал сам Ирод Антипа — не из-за личной критики (хотя она, безусловно, была занозой), а потому, что Креститель представлял угрозу его власти. Его убили потому, что Антипа справедливо видел в нём опасность: чем популярнее становилась проповедь, тем сильнее она бросала вызов статус-кво.

А народ Крестителя любил. Его мысль о Боге «внутри тебя, а не внутри храма» была ранним проявлением демократического духа — своего рода «демократизацией религии». Она означала: каждый человек потенциально «богоподобен», создан по божественному образу. Каждый — сын или дочь Божия. Опасное учение в политически опасные времена.

Глава 3

Ущелье Арбель — узкая расселина в холмах южной Галилеи, меньше часа ходьбы от озера, которое мы знаем как Галилейское море. Скалы изрешечены пещерами — идеальное убежище для тех, кто в немилости у властей. Высокие, крутые, почти неприступные для кого угодно, кроме самых ловких, — природные укрепления. Завладей ими — и ты почти неуязвим. Потому Арбель более ста лет служил штабом вооружённого сопротивления галилеян.

Пещеры и теперь на месте: целые комплексы помещений, вырезанных в камне, соединённых ходами и лестницами. Добраться до многих по-прежнему невозможно без навыков скалолаза. Выживать там и сегодня удалось бы лишь с помощью снаружи: люди должны были подавать корзины с едой и водой — поднимать их на верёвках или спускать сверху.

Партизаны успешны лишь при поддержке местных — и бойцы Арбеля её имели. Это были не чужаки, а свои. Родичи. Сыны разорённых. Они кипели яростью и обидой, больше не желая слушать стариновское «И это пройдёт» или беспомощное «Так устроено, ничего не поделаешь». Не в силах смириться с мыслью работать на Ирода или на новых вельможных землевладельцев на земле, что когда-то принадлежала их семьям, они ушли в горы и развернули постоянную партизанскую войну против иродианского режима — нападали на солдат, вредили государственной машине как могли. Налётывали на главные караванные пути к северу и востоку — и добычу возвращали в свои деревни. И как только против них выдвигались войска, они уходили в крепость Арбеля.

Власть предрежащие — сперва хасмонеи, затем римляне, потом иродиане — называли их разбойниками. Марьям, как и большинство галилейских крестьян, называла их героями — храбрецами, сопротивлявшимся оккупантам, боровшимися за землю.

Партизаны или бандиты? Борцы за свободу или воры? Это проблема, с которой редакторы газет сталкиваются и сейчас. Как назвать группу — зависит от того, кто называет и кто слушает.

Возьмём знакомую фигуру из евангельской памяти: Варавву — «разбойника», которого народ потребовал отпустить вместо Иисуса. Что могло заставить людей настоять, чтобы Пилат отпустил «ничтожество» Варавву, а не Иисуса? Контраст будто бы резок: добро и зло, достойный и недостойный. Явно извращённый выбор — если, конечно, вы настаиваете, что Варавва был именно вором.

Кто он на самом деле? Об индивидуальности судить трудно. Его имя — Бар-Абба, «сын своего отца» — арамейский эквивалент нашего «Иванов Иван»; возможно, прозвище, *ном де герр*, как у Ясира Арафата — Абу Аммар, «отец народа». Но как бы его ни звали в действительности, Бар-Абба был не «простым вором». Наша память о Евангелиях смещена: у Луки он обвинён в мятеже; у Марка — в восстании; Матфей называет его «знаменитым узником». И снова — чей-то борец сопротивления для других — террорист, и

национальный герой для одних — для израильтян или палестинцев — преступник для противников. Звать Бар-Аббу «вором» — удобный способ демонизировать его — и тем самым демонизировать тех, кто потребовал его освобождения вместо Иисуса.

На деле Бар-Абба был в Иудее человеком известным и популярным, а Иисус — безвестным проповедником из того, что иудеи считали глухой провинцией — Галилеи. Дайте выбор между предводителем партизан, боровшимся против властей за справедливость, и неизвестным «провинциалом», который лишь устроил небольшую заварушку в храме, — иерусалимляне громко выберут свободу для проверенного героя, которого знают, а не для непроверенного, которого не знают.

И Бар-Абба был не единственным таким человеком в ту эпоху. Он — лишь один из множества «разбойничьих» отрядов, бродивших по Палестине в рамках народного явления, которое британский историк Эрик Хобсбом назвал «социальным бандитизмом».

Как и в Арбеле, эти «разбойники» были соседями и родственниками. У многих землю забрали в уплату налогов. Кто-то посмел говорить — и даже действовать — против несправедливости и стал «разыскиваемым». Кто-то, несомненно, крал, чтобы кормить семью. По всем этим и иным причинам они уходили в горы — «дополитическое» бегство, быстро обретавшее политическое измерение из-за жестокости властей. Тогда как и теперь, тоталитарные режимы охотились на сопротивляющихся столь беспощадно, что превращали их в героических мучеников.

Большой разницы не было — хасмонеи, иродиане, иудеи или римляне у власти. Это была прежде всего классовая борьба — крестьян против знати — а не «национальный» вопрос. По крайней мере, начиналось всё так. Беглеца от чуждого правосудия богатых и сильных считали достойной жертвой. Если он переходил к активному сопротивлению — «достоинство» перерастало в «героизм». А герой, как всегда, воплощал надежду: угнетение не обязательно. За правду можно бороться. Есть варианты.

Знаменитый Панчо Вилья в Мексике был таким «разбойничьим» лидером: брал у богатых и отдавал бедным — это можно назвать и преступным воровством, и социально сознательным перераспределением, — или, может, просто политической сметкой, — и в итоге вместе с другими бывшими «бандитами» стал вождём Мексиканской революции 1910 года.

В Галилее времён Марьям самым известным «разбойничьим» вожаком был Хизкия — хотя ко времени её рождения он уже сорок лет как был мёртв. Он ушёл в леса после того, как его и его людей хасмонеи выселили с земли вслед за губительной двухлетней засухой. Под его началом в 53 году до н. э. прибрежный город Магдала поднялся на массовое восстание против хасмонеев и назначенного ими молодого военного наместника Галилеи — идумеянина по имени Ирод. Восстание быстро и беспощадно подавили. Озеро покраснело от крови; неделями вокруг стоял смрад разлагающихся в воде тел. Тысячи выживших повели в цепях — продавать в рабство. Сам Хизкия погиб. Но далеко не подавив сопротивление, жестокость иродовых войск и доблесть восставших стали легендой — и вдохновением.

Одного лишь имени Хизкии было достаточно, чтобы звать к действию. Его подвиги — и подвиги его сыновей и внуков, продолживших сопротивление после него — вошли в репертуар сказителей, служивших тогдашними «средствами массовой информации». С каждым пересказом он становился смелее, препятствия — выше, а бойцы держались дольше — и слушатели не желали, чтобы было иначе. Сколько бы шпионов и доносчиков ни нанимал правящий режим, невозможно было не допустить, чтобы дух восстания просочился в самую глубь сознания галилеян. В том числе — Марьям.

Она слышала эти истории бесчисленное количество раз — до того, что они стали частью её самой, заученные слово в слово. Некоторые старейшины Назарета тогда ещё были живы; они видели всё детьми — если не своими глазами, то глазами тех, кто был там. Так что Марьям знала кровавые подробности резни в Магдале так, словно это случилось вчера, а не пятьдесят лет назад. Она могла пересказать, как отважные матери сотен убитых проделали долгий путь в Иерусалим, чтобы потребовать от первосвященника суда над Иродом за расправу над их сыновьями — и тем вынудили его бежать в Рим. И как всего через несколько лет люди Хизкии — уже под предводительством его сыновей — отчаянно сопротивлялись, когда Ирод вернулся пробивать себе дорогу к трону в Иерусалиме.

Подробности были выпуклыми: солдат спускают на верёвках с вершин утёсов Арбеля, чтобы забрасывать пещеры факелами; бойцы внутри пещер заперты, одни погибают в огне, другие задыхаются в дыму; уцелевшие бегут искать убежища в горных деревнях. Крупнейшая из них — галилейский Вифлеем — в двадцати милях от Арбеля, но и это тяжёлый переход для здорового человека, не то что для раненого. Назарет маленький, но на пять миль ближе. Здесь, несмотря на риск жестокой расправы, если их обнаружат, такие женщины, как бабушка Марьям, выходили ухаживать за людьми Арбеля, ставили их на ноги — а тех, кто не выдерживал, хоронили в общих гробницах, глубоко высеченных в скале.

Если в истории и есть постоянная величина, так это то, что властолюбивые правители заставляют народ платить по счетам. А Ирод, вышедший из захолустья пустыни — Хеврона, столицы Идумеи, — был жаднее многих.

Особенно его ненавидели в Галилее — и небезосновательно: галилеяне дольше юдеев имели с ним дело — за его годы военного наместничества там. Но и в Иудее «его» народ так и не принял его. Тихо, шёпотом — кто знает, кто подслушает, — насмешливо называли «полуиудеем». А вторая половина? Э. Н. Уилсон называет его «арабом из южной палестинской провинции Идумея», что отчасти верно — и в современном взгляде, конечно, щекочет воображение мысль, что «царь иудейский» был арабом. Но, как всегда, полная правда сложнее.

Иродиане стали «иудеями» лишь в 104 году до н. э., когда их царство Идумея — библейский Эдом — завоевали хасмонеи при Александре Яннае. Можно сказать, Яннай продолжал «семейную традицию» присоединений: двадцать пятью годами ранее его отец, Иоанн Гиркан, покорил Галилею. Яннай позволил идумейской знати остаться у власти при условии, что они примут культ Яхве и согласятся на обрезание. Со вторым проблем не было

— тогда, как и теперь, обрезание было обычным у большинства народов региона. Так знать принесла положенные клятвы Яхве, а их народ как поклонялся своему богу Косе, так и продолжал.

Победа казалась лёгкой, но хасмонеи куда лучше поступили бы, забудь они о расширении и оставь Идумею в покое. За последующие шестьдесят лет идумеи отплатили за завоевание сторицей: ловко разыгрывали междоусобную борьбу хасмонеев, срамливая их друг с другом и с римлянами, пока Ирод — отпрыск идумейской правящей знати, внук насильно «иудеенного» человека и сын набатейской матери — не был назначен Марком Антонием в Риме «клиентским» царём Иудеи.

Не то чтобы одного слова Марка Антония хватило, чтобы сделать Ирода царём. Ему понадобилось три года, чтобы с боями добраться до Иерусалима, по дороге наживая врагов. Арбельские партизаны были лишь одной из его первоочередных целей. Выкурив и выжегши их из пещер, он взял гарнизон Сепфориса и остальную Галилею, затем повернул на юг — к Иерихону, Яффе и, наконец, к самому Иерусалиму, который взял в осаду. Осадой всё не кончилось: его войска разграбили храмовые дворы и священнические особняки, перебили аристократическую верхушку — чтобы поставить на её место своих людей.

Учитывая пропасть между богатыми и бедными, ход мог бы и не быть ужасным — если бы он стремился стать «народным царём». Но нет. Амбиции его были куда шире. Он хотел быть не просто Иродом-царём, а Иродом Великим. И он строил. Монументально.

Перестройка Иерусалимского храма в масштабах, превосходивших всё эллинское мироздание, — самый знаменитый из его проектов, но были и бесчисленные другие. Он выстроил с нуля целый ряд дворцов — административный дворец в Иерусалиме на холме, глядящем вниз на храм, и роскошный зимний дворец в Иерихоне с бассейнами; крупнейший из них как нельзя лучше подошёл для «несчастной смерти от утопления» его шурина-Хасмонея Аристовула. Были и дворцы Иродион и Масада — те самые укрепленные пустынные «выходы», без которых тирану никуда в эпоху народных волнений. И, разумеется, новая столица Кесария с гигантской искусственной гаванью и молом — больше афинского Пирея — и изукрашенным комплексом мраморных, портичных, фонтанных чертогов, белеющих в средиземноморском солнце.

Одного храма ему было мало. Он построил другой — в Самарии, в честь «божественного» императора Августа, и третий — святилище местного культа Авраама в Хевроне, столице Идумеи. Вдали от дому отстроил храм Аполлона на Родосе. Религиозная «всеядность» у него была что надо.

И храмы — лишь начало. Ирод стал крупным благодетелем по всему восточному Средиземноморью. Финансировал большие стройки в Афинах, Ликий, Пергаме и Спарте. Заново обнёс стенами Библ, построил форумы в Тире и Бейруте, акведук в Лаодикее, амфитеатры в Сидоне и Дамаске, гимнасии в Птолемаисе и Триполи. Проложил двух с половиной мильную мощёную колоннаду вдоль главной улицы Антиохии, отделанную полированным мрамором.

А с современной точки зрения особенно поражает его поступок 16 года до н. э.: он пришёл на помощь хиреющим Олимпийским играм, пообещав огромные суммы, чтобы их проводили регулярно и с подобающей пышностью. На щедрость, конечно, ответили почестями: ему присудили титул Пожизненного президента Игр.

«Пожизненный президент» — именно такой титул охотно присваивают себе тираны и сегодня. И Ирод, несомненно, был тираном — как, впрочем, любой правитель того времени. Идея демократии была ещё в семнадцати столетиях от них. Это было время, когда царственность часто смешивалась с божественностью, когда цари и царицы — Август, Клеопатра — объявляли себя богами и требовали поклонения. Видели ли подданные их богами буквально — другой вопрос, но традиции вроде «целительного королевского прикосновения» продержались до Средневековья. Даже область сугубо божественного называли «царством Божиим». Ирод хотя бы был светским тираном.

Не по собственной воле — будь возможность, он бы объявил себя богом. Но он правил по милости другого — императора в Риме. Провозгласить себя божественным — значило бросить вызов императору, а это было единственное, чего он не мог себе позволить.

И всё же он, конечно, жаждал, чтобы его почитали как бога. Божественность хотя бы обеспечивает некое смирение, если не принятие; светских тиранов ненавидят ещё сильнее. У Ирода не было боговдохновенного ореола ужаса; у поставленных им первосвященников — авторитета «Богом назначенных», то есть наследственных. Оставался человеческий страх — но уж его-то он умел внушать.

Тираны во все времена удивительно похожи. Сеть соглядатаев и осведомителей Ирода, как у Саддама Хусейна в Ираке, включала одно ведомство, шпионящее за другим. Постоянные «проверки на верность» заканчивались немедленной казнью при малейшей «неудаче». И, опять же как у Саддама, мегаломания Ирода шла рука об руку с паранойей. Он раз за разом поражал ближних, заподозрив в измене. Подозревал повсюду — и, пожалуй, недаром.

Одной из мер предосторожности было не использовать иудеев в своей армии — те слишком легко могли обернуться против него. Вместо этого он хитро опирался на самарян и идумеян — давних врагов иудеев — и на иностранных наёмников из Фракии, Германии и Галлии.

Да, из Галлии — нынешней Франции. Как бы ни думали западные люди, а особенно французы, что Франция — оплот утончённой культуры, две тысячи лет назад это была глухомань. Галлию считали таким краем, где жить не хотелось никому — настолько, что когда старший сын Ирода, Архелай, после смерти отца ставший «клиентским правителем» Иудеи, был снят римлянами и сослан за «удивительное сочетание жестокости и неумелости» (жестокость не смущала, а вот неумелость — да), его отправили в Виенн на Роне, на юго-востоке Франции. Тридцатью тремя годами позже его младший брат Антипа, в 39-м н. э. низложенный и изгнанный императором Калигулой, был сослан в Лион, на востоке Франции.

Одной лишь силой власти не удержишь — никогда. Нужны и хитрость, и расчёт. Ирод Великий был мастером: трезво понимал, как устроен мир — то есть Римская империя.

Клиентскому царю надо уметь верно читать политические ветры — и вовремя выбирать нужного патрона. Ирод всегда «страховал тылы». Он умел пользоваться тем, что римляне называли **unguentária** — от слова о целебных и душистых маслах. Это были «мазевые» деньги, смягчающие путь честолубивому — по-достоевски говоря, «смазка для ладоней». Короче: взятки. Их брали все — от самых высоких до ничтожнейших чинуш. На верхах историки стыдливо именуют их «подарками». Но это были вовсе не подарки — это были дотошно просчитанные **quid pro quo**, особенно в руках такого мастера, как Ирод, который без зазрения совести разграблял сокровища Иерусалимского храма — и значительная их часть текла в сундуки сперва Юлия Цезаря, затем Марка Антония, а потом Октавиана, провозгласившего себя Августом.

Эквилибристика Ирода облегчалась геополитическим фактом, справедливым и ныне: Палестина лежала на сухопутном пути из Египта, который поставлял треть римского годового потребления зерна, и служила буфером между Римом и врагами на востоке. Иными словами, Палестина была ключом к контролю над восточным Средиземноморьем. Ирод обеспечивал римлянам этот контроль. Он был превосходным клиентским правителем: безусловно лояльным к любому, кто у власти; не представлял угрозы объявить себя божественным — его и свой народ толком не принимал; и, главное, умел держать Палестину «тихой».

С точки зрения Рима всё работало идеально. После того как Ирод пробился до Иерусалима и занял трон, римлянам до самого его смертного года не пришлось посылать войска. Тридцать пять лет послушания и прибыли почти даром — идеальная колониальная сделка.

Разумеется, не для колонизированных.

Кто-то должен был платить за грандиозные мечты Ирода. Одни Олимпийские игры стоили тогда столь же неприлично дорого, как и сейчас. Раз телевизионные сети не платили за трансляции, а коммерческие спонсоры не существовали, бремя ложилось на тех, кто меньше всего мог его нести: палестинских крестьян.

Не то чтобы у Ирода не было крупных личных доходов: богатство — главный атрибут власти. Он получал доход с коронных доменов, в том числе с чрезвычайно ценных финиковых плантаций и бальзамовых садов Иерихона. По договору с Августом имел половину дохода с кипрских медных рудников. В его распоряжении были пошлины и акцизы с его средиземноморских портов и с пунктов входа — например, Капернаума на северном конце Галилейского моря, где караваны верблюдов и мулов, шедшие с юга, из Аравии, по долине Мёртвого моря, сворачивали на запад к морским гаваням. Сверху — проценты по огромным займам набатейцам, чьё царство тянулось вдоль восточной стороны долины Мёртвого моря, и почти свободная рука (если не официальное «право») в разграблении храмовой казны.

Но при таких амбициях и этого было мало. Недостачу можно было покрыть лишь с земель, которые он контролировал напрямую. То есть — налогами.

Налоговое бремя было сокрушительным. Как водится, сильнее всего оно било по бедным. Сначала треть урожая шла прямо Ироду — собирал он и для Рима, и для себя. Затем ещё десятая часть — священническая десятина: «первинки» и прочее. И затем ежегодная пол-«шекеля», которую платили прямо храму — причём не с домохозяйства, а с каждого мужчины в семье. Поэтому предложения переписей населения неизбежно вызывали восстания. В сумме почти половину урожая у крестьянина забирали немедленно — десятинами и налогами, зачастую прямо на гумне. А поскольку всё, что сборщик сумеет вытрясти сверх положенного, он оставлял себе (плюс к обычной комиссии), многие платили ещё больше.

Стоило сборщикам налогов показаться с гребня от Сепфориса — разумеется, в сопровождении военных, — как разговоры и песни, вся суeta и радость жатвы смолкали. Обычно в Назарете путника с порога окружал гомон — теперь его не было. Мальчишек одёргивали, чтобы не хихикали при виде взрослых мужчин, сидящих на мулах (все знали: ездят лишь больные да старики). На деревню опускалась угрюмая тишина. Даже ослы, тянущие обмолачивающие доски по свежубранной пшенице, будто двигались вялее, словно под тяжестью ноши.

Солдаты были непредсказуемы, сборщики — грубы. Не предъявишь «должного» — заберут силой, да ещё сверху — «за хлопоты». Серединиться с ними выходили только домохозяева, в центре деревни. Женщины и девушки держались подальше — мало ли взбредёт солдатам, что изнасилование входит «в комплект». Как и все девочки её возраста по Галилее, Марьям смотрела сверху, с оливковых террас, — как её мужчины вынужденно гнутся под вымогателями.

Те, кто мог, просто подкупали сборщиков, чтобы те занизили начисления. Это могло занимать часы яростных торгов, пока солдаты под присмотром грузили на мулов мешки с пшеницей, ячменём, кувшины с оливковым маслом — всё, что было в запасе или в сезон. Кто не мог позволить себе взятки, тех часто сталкивали на дорогу к потере земли. Им приходилось просить кредит под следующий урожай — у иродианских чиновников, у священнической знати или, что хуже всего, у самих сборщиков. В спирали долгов, известной малым земледельцам по всему миру и по сей день, они занимали под будущие сборы — и закладывали двор.

Встав на этот путь, почти невозможно было сойти. Займы были рискованны. Даже в лучшие годы урожайность была невысокой: участки крестьянина давали чуть больше прожиточного минимума для семьи. Если следующий год засушливый — семья уже в опасности. Два засушливых подряд — и конец. Залог по первому займу — урожай; по второму — сама земля.

Люди, владевшие своей землёй — землёй отцов, дедов, прадедов, — поколениями, сколько руки помнили, — становились арендаторами в своих же полях или были вынуждены идти

на стройки Сепфориса или Иерусалима. Так рушились семейные уклады. Но гибло и большее — основа всей крестьянской жизни.

Палестинский антрополог Али Клейбо отмечает: в крестьянских обществах «связь с землёй очень трудно разорвать — по эмоциональным, социальным и историческим причинам. Это мощный символ, в терминах которого формируется чувство идентичности». Выживание семьи на земле предков — на земле с оливами, старше ночных легенд у очага, — было и остаётся высшей ценностью. Лишение — это не только утрата дома или даже земли как таковой; это утрата «самости».

Вот почему великая традиция пророков жила в памяти Марьям — и почему она затем позаботится передать её сыну. Пророки были стражами идентичности. Один за другим они взывали к суду Божьему против правителей, эксплуатировавших крестьян и присваивавших их земли. Исаия, Иеремия, Осия, Амос, Михей, Неемия — все говорили грозно.

Неемия, писавший вскоре после основания второго Иерусалимского храма, фиксировал жалобы народа слово в слово:

«Мы закладываем поля, виноградники и дома, чтобы достать хлеб во время голода... Мы берём займы под поля и виноградники, чтобы заплатить царскую подать... Мы отдаём сыновей и дочерей наших в рабы, и некоторых из дочерей наших обесчестили. Мы бессильны, и поля наши и виноградники принадлежат другим».

Да, рабы. Как в Афганистане и ряде стран сегодня, детей часто продавали, чтобы расплатиться с долгами. И поскольку преемственность семьи связывалась прежде всего с сыновьями — особенно старшим, — чаще всего в уплату долгов отдавали дочерей. Таких, как Марьям.

Так быть не должно. Древний закон Моисея, установленный в Исходе и повторённый в Левите и Второзаконии, предписывал каждые семь лет «субботний отпуск» от долгов и долгового рабства — прощение долгов, которое, пожалуй, стоило бы включить в свою «буквалистскую» практику многим сегодняшним фундаменталистам, особенно если они банкиры. Но, как с большинством идеалов, соблюдалось это прощение скорее «с нарушениями», чем «по букве». Как и заповедь единобожия, это был принцип, а не обычай.

Когда долговой кризис обострился, храмовая аристократия изобрела «прозбул» — особый юридический механизм для выдачи кредитов в «субботний» год, когда в обычных условиях никто не захотел бы давать займы. Намерение, возможно, было достойным, но вышло наоборот: по сути, это просто отменило саму идею «субботнего» прощения долгов.

Однако идеал жил. Прощение долгов — то, на чём Иисус настаивал среди своих последователей. Он заложил его в то, что мы теперь зовём «Молитвой Господней» — удивительный текст, который сегодня воспринимается в основном как метафора. В Палестине двухтысячелетней давности он касался самой конкретной, ежедневной реальности. Он затрагивал две главные заботы крестьян: «Дай нам хлеб наш насущный» и

«Прости нам долги наши». Когда тебе не хватает еды и тебя выдавливают с земли, не до метафор — ты говоришь буквально.

Так молитва и начиналась. В ранней редакции у Матфея: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но ко времени Луки текст частично «ослеп» к теме долгов, став: «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Со временем слепота стала полной, и в канонической версии читаем: «Прости нам прегрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас».

В замене слов есть своя логика. Лука и позднейшие авторы были дальше от Палестины — и по времени, и по пространству. Они писали для аудитории, блаженно не подозревавшей о положении галилейских и иудейских крестьян под римско-иродианским владычеством. Но сам факт, что долги «превратили» в грехи, отрезвляет. Он подразумевает осуждение — будто виноваты должники, «грешащие» против некоего высшего порядка. Иронично, но доминирующая версия молитвы Господней идёт вразрез с тем, за что стоит Иисус в Евангелиях. Смешивая долг с грехом и «преступлением», она встаёт на сторону заимодавца против должника, богатого — против бедного.

Сопrotивление было неизбежно. Особенно в Галилее, где партизанами Арбея теперь руководили внуки Хизкии. Но хотя для горных деревень — вроде галилейского Вифлеема и Назарета — партизаны были героями, опора у них была и городская — сильная. Центр её — прибрежная Магдала, родина Марии Магдалины, женщины, в которой сошлись крестьянская глубинка и городской пролетариат.

В Евангелиях нет реальной Магдалы: ни слова о том, что это было единственное место в Галилее с населением не в сотни, а в тысячи — и что таковым оно оставалось до тех пор, пока Ирод Антипа в 19 году н. э. не начал строить Тивериаду несколькими милями к югу. Нет и понимания её роли как центра галилейской рыбной индустрии.

А это была именно индустрия. Магдала по сути — рыбоперерабатывающий «завод»: полупромышленный посёлок, населённый крестьянами, согнанными с земли засухами, войной, налоговой кабалой. Они текли «в город», там работали за подённую или сдельную плату, жили в тесных хижинах и оказывались почти рабской силой на других. Место кипело гневом и обидой, грезами о мире без римлян, без Ирода, без сборщиков налогов и чиновников, без взяток и коррупции. Словом — как множество современных «третьемировых» городков, где люди, согнанные с земли, ютятся в нищете и грязи, где отчаяние множит отчаяние.

Легко нынче сидеть на больших округлых камнях у берега в тихий весенний день, рядом с руинами византийского монастыря, заросшего дикой мятой и сторожимого мусульманским смотрителем с собаками, и представлять идиллию. Гораздо труднее — вообразить, как было две тысячи лет назад, когда на причалы ежедневно вытаскивали тонны рыбы, потрошили и чистили её, затем перерабатывали — солили, прессовали, коптили, ферментировали, мариновали — и наконец запечатывали в тяжёлые глиняные кувшины и выюками гнали на мулах на юг, в Бейт-Шеан, оттуда — на восток, по долине Изрееля, в порт Кесарию, откуда отправляли в Рим.

Специалитет Магалы — острый рыбный соус *гарум*. Деликатес в изысканных римских трапезных. Ему приписывали и лекарственные чудодейства — возможно, убивал не меньше, чем «лечил». Представьте очень «рыбный» вариант корейского кимчи или *нуок-нам* — анчоусного соуса в тайской и вьетнамской кухне, — а теперь умножьте «резкость» вдвое — это и будет *гарум*. Его делали так: солёные и пряные потроха мелкой рыбы оставляли бродить на солнце несколько недель — да, недель! — затем отцеживали жижу. Всякому англичанину, кого это ужасает, стоит заглянуть в состав бутылки *Worcestershire sauce*.

Можно догадаться, чем пахла Магдала. Зловоние разлагающейся рыбы было везде: на руках, в ноздрях, в волосах, в грязи под ногами, в воздухе. Оно смешивалось со смрадом открытых стоков и едким дымом коптильных башен, так что духота нависала в узких переулках, забивала воздух тёмных лачуг и въедалась в одежду горожан. На окраинах кружили огромными стаями бакланы и грифы — пикировали на кучи дымящихся костей и внутренностей.

Летом, в неподвижной влажной жаре, было совсем невыносимо: с озера поднималось столько испарины, что едва виднелись холмы Арбеля за спиной, не то что дальний берег и покрытая снегом гора Хермон далеко на севере. Зимы, по контрасту, были мягкими — разве что в дни, когда откуда ни возьмись налетали внезапные бури.

Бури были стремительными и коварными. Ущелья вокруг озера работали ветряными трубами: шквалы взбивали воду в белые острые барашки и гнали их к берегам; волны, отбившись, сталкивались с приходящими — вода билась о воду, и спокойствие за минуты превращалось в хаос. В этом хаосе гибли рыбаки в малых лодках.

Гордые независимые рыбаки? Увы, нет. Идиллия с закатными неводами и дружеской жаровней — лишь идиллия. На деле отрасль была жёстко регламентирована, а рыбаки эксплуатировались не меньше, чем крестьяне под налоговым бременем. Правами на лов распоряжались правительственные агенты — продавали их тому, кто больше заплатит (и даст взятку). Это были по сути «концерны»: они нанимали рыбаков подёнщиками, сдавали лодки самим работникам по грабительским ставкам.

Вчитайтесь между строк в Евангелие от Матфея — и станет ясно: независимый рыбак не бросил бы лодки и не пошёл за проповедником, пусть и харизматичным. А зависимый? У которого лодка — лишь «в пользовании», по милости главы концерна, и заработок можно отнять в любой момент? Ему было нечего терять.

И вот наконец Ирод Великий умер. Несмотря на множество покушений, он дотянул до шестидесяти с лишним — как и теперь, тираны будто бы «цветут» от злоупотребления властью. Умер он, по всем рассказам, мучительно — от рака желудка. Годы ожидания кончились. Стоило разнестись вести, как по всей Палестине вспыхнули уличные бунты. Казалось, настал час народного вождя — помазанника, мессии, который избавит землю от оккупантов и вернёт народу достоинство и независимость.

Претендентов было много. В Перее, к востоку от Иордана, некий Симон провозглашён был царём своими сторонниками — и повёл их на стремительные рейды против иродианских владений за рекой. Грабили и жгли несколько иродовых дворцов — включая пресловуто роскошный в Иерихоне: особенно сладкая цель для Симона, некогда бывшего там рабом. В Иудее пастух, известный в источниках лишь по греческому имени Афронг — Афронгес, — был провозглашён «народным царём» и с братьями вёл партизанские операции против иродиан. Но ни у одного не было такого влияния, как у внука Хизкии — Иуды — в Галилее.

Его партизанский отряд, усиленный крестьянами, штурмом взял Сепфорис — иродианский гарнизонный город за хребтом от Назарета. Взяв врасплох и числом, они быстро овладели гарнизоном. Первым делом — ломом в дверь архива и уничтожить все налоговые и долговые записи.

Слух шёл быстро; подходили всё новые сельчане, упиваясь внезапным дыханием свободы. Их долги насильственно «прощены», они разграбили дворец областного правителя, захватили оружие, увезли мешки с зерном — своим зерном, силой взятым как налог — домой.

Долго так быть не могло. Ответ — в классическом римском стиле — пришёл быстро, грубо и тяжёлой рукой. Римский полководец Вар возвратился с легионами с севера — из сирийской штаб-квартиры. Как водилось у римлян, из Рима были лишь командиры; сами солдаты — наёмники, главным образом из Сирии и дальше на восток. Никакой «честь оружия»; никакого разделения на «воюющих и мирных». Как и вся война того времени, это была война тотальная. Вырывали с корнем оливковые рощи и фруктовые сады. Жгли пшеничные поля. Насиловали и убивали женщин и девочек. Разрушали дома, а порой и целые деревни — «за укрывательство беглецов». В Перее Симона настигли и обезглавили. Тысячи сторонников Афронга — пастуха-мессии — перебили, а он сам исчез. Магдала приняла рукопашню и длинные колонны магдалинян, ведомых в цепях на продажу в рабство. Но самые ожесточённые бои — и самая лютая расправа — пришлись на Сепфорис.

Гарнизон сравнивали с землёй; предводителей «оккупантов-бунтовщиков» распяли, а их сторонников взяли и продали в рабство. Никто не знает, сколько назаретян было среди них, но несомненно, что все выжившие направились в Назарет — через хребет к югу. Самые смелые из жителей поднимались на вершину, чтобы видеть, как дым от горящего города ползёт к ним. Другие, ещё смелее, спускались на дальний склон — помогать выводить уцелевших к безопасным местам: сперва в Назарет, затем в более укромные деревни.

Они были достаточно близко, чтобы видеть, как солдаты готовятся к распятию вождей сопротивления — римскому наказанию для рабов, мятежников и изменников. Им оставалось лишь беспомощно смотреть, как поднимают перекладины крестов на склоне Сепфориса — и затем нести молчаливую, далёкую вахту, пока солдаты глумились над измученными людьми, пригвождёнными к крестам, день за днём. А когда те, наконец, умирали — и их тела бросали в ближайшую расщелину, — крестьяне не могли их забрать: их дочиста обгладывали шакалы и грифы.

Марьям стояла на вахте вместе с ними. Как она могла иначе? Нет сомнений, что она была вовлечена в сопротивление своего времени. Единственный вопрос — как она могла быть не вовлечена. Как любой житель западнобережной деревни или лагеря беженцев в Газе сегодня, она была втянута в политический водоворот, потому что он проникал в каждую деревню, каждый клан, каждую семью.

Её собственные родичи почти наверняка были среди распятых у Сепфориса, и эта сцена распятий выжглась у неё в мозгу, клейменем легла на сознание. Эти люди умирали за неё, за соседей, за всех. Рискнуть крестом — знак мужества; умереть на нём — смерть героя. Отступить от борьбы из страха перед такой смертью — значит предать не только всё, за что сражались эти люди, но и всё, во что верила и ради чего трудилась она сама.

В любой борьбе народного сопротивления девушки ценятся не меньше опытных бойцов. Ещё до смерти Ирода и жестокой расправы Вара — кто лучше пастушки в свободной льняной тунике доставит еду в пещеры Арбеля? Кто знает козьи тропы лучше, чем «мужские», — причём и при звёздах, как при солнце? Козы и овцы научили её каждой пещере, каждому дереву, дающему тень, каждому карнизу, где можно укрыться от палящего полдня — или от солдат. Марьям была идеальным проводником для раненого, ищущего спасения.

Ей и в голову не пришло бы делать меньше. Это был не просто юношеский идеализм: принцип сопротивления был вбит в неё прочно. Это часть её культуры и истории как галилеянки. Репрессии лишь укрепляли её решимость, а не выхолащивали её. Как «стойкость» стала девизом арабских палестинцев во время Интифады — восстания против израильского правления, начавшегося в 1987 году, — так же она могла бы стать девизом «еврейских» палестинцев времён Марьям.

Многие методы римлян звучат сегодня на Ближнем Востоке пугающе знакомо: массовые заключения, казни, высылки, коллективные наказания — снос домов и деревень, выкорчёвывание олив и садов. Читая газеты последних лет, трудно не услышать эх, отскакивающих сквозь века между римской оккупацией Палестины и израильской оккупацией Западного берега и Газы.

Как и восстания против Ирода и римлян, Интифада родилась из внутреннего социально-политического взрыва в палестинском обществе. Она сочетала национально-освободительную войну с классовой. Традиционные аристократические семьи, сумевшие уберечь активы и при иорданском, и при израильском правлении, оказались под угрозой — как иудейская аристократия две тысячи лет назад под угрозой народных выступлений. Как и первосвященство, старые лидеры ФАТХ казались культурно и морально разложившимися — «виски-пьющими» — это одно из самых мягких прозвищ, — а рост фундаменталистского ХАМАС предлагал соблазнительную альтернативу, подогревая восстание религиозным возрождением. Как отметили журналисты Зеэв Шифф и Эхуд Яари, политическая активность «соединила патриотизм с нравственной чистотой, а социальное действие — с обещанием благодати».

Чем сильнее подавляли Интифаду, тем шире становилась поддержка. Важно и то, что она вовлекла всех: женщин и мужчин, старых и молодых. Бабушки приносили корзины камней детям, целящим из пращ в танки. Женщины организовывали налоговые забастовки и социальные службы. Возродилась тактика, напоминающая сикариев — «ножников» середины I века: ликвидации подозреваемых в сотрудничестве. К 2001-му даже вековые представления о чести перевернулись: девушки-подростки становились смертницами, обретая мгновенное «мученичество».

То, что верно сегодня, было верно и две тысячи лет назад. Репрессии могли работать в краткосроке, но были контрпродуктивны в долгую. Римляне хотели принудить палестинцев смириться с участью; вышло наоборот — палестинцы поняли, что могут на неё влиять — революционная мысль для крестьян в любое время и в любом месте, особенно взрывоопасная в смеси с религией.

Сколько бы ни было распятий — а их были тысячи; сколько бы ни разрушали домов и олив, ни увозили людей в рабство, Вар и его воины не могли уничтожить ощущение, что вот-вот родится нечто новое. Сейчас мы бы сказали «милленарное ожидание», хотя тогда никакого «миллениума» не было: в храме Иерусалима шел 3761-й год, а в отсчёте от основания Рима — 753-й. Но ни одного галилейского крестьянина не занимало, как считают годы. Важно было одно: старый тиран умер. Стойкость и терпение будут вознаграждены. Симон и Афронг были «ложными» мессиями, но если когда и должен явиться истинный помазанник, чтобы вывести народ к свободе и независимости, то именно теперь.

Такой была Палестина чуть больше двух тысяч лет назад — мир, в котором жила Марьям и в котором в тринадцать лет забеременела и родила.

Это был год, который мы теперь называем 4-м до н. э.

ЧАСТЬ 2. ЕЕ УТРОБА

Глава 4

Марьям рано узнала всё о родах. С малых лет бабушка берёт её с собой всякий раз, когда где-то принимают младенца. Старухе за пятьдесят, но она проворна и ясна умом не меньше любой пастушки; как и положено деревенской «мудрой женщине», будто бросает вызов возрасту. Имя? Такое же, как у повивальной бабки из апокрифов: Саломея. Имя, которое может значить и «женщина мира», и «женщина цельности». Пожалуй, это одно и то же.

Сначала Саломея лишь давала Марьям носить короб с травами и маслами, но постепенно, так что девочка и сама не замечала, как учится, передала ей, как помогать: потянуть здесь, надавить там, смешать эти травы для настоя, а те — для припарки. И теперь Саломея знает, что преемницу выбрала удачно. Девочка быстро схватывает, руки у неё сильные — могут быть крепкими или мягкими, как нужно. «Дарёные руки», — говорит Саломея.

Как только приходит весть — запыхавшийся мальчишка стучит в дверь, часто среди ночи, — обе женщины, старая и юная, идут по переулкам к дому, где родня столпилась вокруг стонущей роженицы. Мужчины сидят молча на крыше, держатся в стороне: это женское дело. Саломея проверяет, всё ли на месте: камень на полу, на который она сядет между раздвинутых ног матери; огонь для подогрева воды и масел; земля, рассыпанная перед камнем повитухи, чтобы впитывать кровь.

Марьям подвешивает к балке опорную верёвку, чтобы роженица могла держаться за неё, когда тужится. Саломея распоряжается кумами: одной стать сзади, чтобы обхватить женщину под мышками и приподнимать; двум другим встать на колени по бокам, чтобы принять на себя вес её бёдер. Втроём они образуют естественный «женский стул» поддержки, а Саломея — впереди, четвёртая точка «компаса».

Тем временем Марьям смешивает травы, чтобы ускорить роды. Бабушка предпочитает «гигантский фенхель», и Марьям тщательно отмеряет растёртые листья — дозировка жизненно важна. Потом смешивает их с маслом и каплей вина, приподнимает голову беременной и уговаривает пить. Саломея наблюдает; ей нравится, как внучка ведёт дело. Многие женщины в схватках извиваются и отворачиваются, выплёвывают снадобья и мешают работе повитухи. Но голос и прикосновение Марьям словно успокаивают их. Они глотают поданное питьё, глубоко дышат, когда она велит, тужатся, когда она скажет.

Чаще всего всё идёт благополучно. Младенец появляется как положено, головкой вперёд. Саломея подхватывает его обеими руками и ловким поворотом выводит на свет — сморщенный свёрток новорождённой плоти, покоящийся в её тёмных, морщинистых от возраста ладонях. Потом она призывает без промедления послед.

«Иди, сестра», — напевает она, присваивая его семье, чтобы дух не вернулся мучить ребёнка. — «Иди в мир».

«Иди, сестра», — вторят ей кумушки: плацента должна выйти, иначе мать умрёт.

Если послед задерживается, одни повитухи щекочут перцем, чтобы роженица чихнула. Другие жгут иссоп или чабрец и дают вдыхать дым — вызвать дополнительные схватки. Но Саломея предпочитает способ проще и надёжнее: вдавливая лбом живот матери, невзирая на её крик, и выталкивает послед вниз и наружу.

Теперь женщины поднимаются и заливаются трелями, встречая младенца и отпугивая злых духов, что, быть может, слоняются рядом, готовые вселиться в беззащитного новорожденного. Высокое, острое «ли-ли-ли-ли» плывёт над деревней, разнося добрую весть, пока Марьям смазывает младенца маслом и посыпает солью — каждый новорожденный помазан в своём новом мире — для защиты от духов и хвори. Затем кладёт его в корзину вместе с последом, чтобы ребёнок мог черпать его силу в первый день жизни.

Саломея произносит положенные заклинания. «Эль, великий бог, дающий жизнь всякому живому, — взывает она. — Не дай болезням и врагам власти над этой женщиной и над вышедшим из неё младенцем. Призываю могучего». И, сокращая запретное полное имя Яхве до «Я», она закрывает глаза, поднимает голову и вновь и вновь выдыхает укороченное имя в ночь, пронзительно и высоким звуком: «Я, Я, Я, Я, Я...»

Она знает: жизнь младенца была в её руках и её травах, а заговоры, как и масло с солью, — больше обряд, чем практическое средство. Но она же знает и силу веры. Матери необходимо верить, что её дитя выживет, и сам акт заклинания успокаивает — даже саму Саломею. Это — словно завершение: знак, что дело сделано как следует и можно возвращаться домой и спать с чистой совестью.

На следующий день она приходит перерезать пуповину. Если родился мальчик, она делает обрезание. Быстрый, умелый надрез ножом, один крик — и всё. Потом они с Марьям заворачивают послед в масло и солому, перевязывают тканью, вышитой матерью специально для этого, и хоронят вместе с землёй, напитанной кровью перед «родильным камнем». Так земля будет терпеливо ждать, чтобы однажды забрать к себе новую жизнь, ведь каждый знает: из земли мы рождены и в землю вернёмся. Прах к праху, пыль к пыли.

Имя ребёнку дадут не раньше, чем через сорок дней. Если выживет — будет пир: деревня отпразднует, а мать ритуально омоют родные женщины. Но лишь по прошествии этих сорока дней. Нельзя гневить богов, принимая жизнь как нечто само собой разумеющееся.

И всё же порой даже лучшие усилия Саломеи тщетны. Как бы ни были велики её умение, знание и опыт, боги возьмут своё. Мать может кровить, как ни сильны травы, слабея и слабея, пока не иссякнут силы жить. Или младенец рождается мёртвым — посиневший от удушья, с пуповиной на шее, или столь уродливым, что поневоле благодаришь судьбу, что в его лёгких нет дыхания.

Иногда — и это худшее — умирают и мать, и дитя, и тогда собравшиеся женщины начинают причитать — долгим, глубоким стоном, как зверь в смертной муке, — пока Саломея без

запинки переходит от жизни к смерти, принимая одно столь же спокойно и естественно, как другое. Марьям оmyвает тела, а бабушка смешивает мирру и другие душистые травы с маслом, и обе — старая и молодая — совершают последний акт почтения умершей женщине и её ребёнку. Они натирают и помазывают тела и укутывают их в саваны.

Когда я жила в Иерусалиме, мы с друзьями ходили по окрестным холмам за травами, особенно весной. Любимой у меня была дикая шалфей — по-арамейски «марьямия»: буквально «трава Марьям». Не широколистный садовый шалфей, а горный, более тонкий, с длинными серовато-зелёными листьями. Мы приносили его домой, набивали в стакан, заливали мёдом и кипятком, глотали — и чувствовали себя необычайно ясноголовыми и... да, мудрыми (sage — «шалфей» и «мудрый»).

Как бы ни вышло — имя ли Марьям дало имя траве или наоборот, связь крепка. Ту шалфеею, что собирала и пила я, несомненно, собирала и пила она. Но я лишь баловалась; Марьям была куда профессиональнее.

Немногим сегодня трудно принять образ её как пастушки, в холмах с овцами и козами. Это ведь вписывается в наш образ крестьянской жизни двухтысячелетней давности — да и нынешней. Но есть в этом оттенок снисхождения — такой же, как когда мы воображаем, будто люди, не умевшие читать и писать, по определению были невеждами.

Марьям должна была быть куда большим, чем «ещё одна деревенская девчонка с отарой». Она воспитала ребёнка, который при жизни стал прославленным целителем, а после смерти — божеством. Откуда же у него такое знание?

Существовало бесчисленное множество теорий, где Иисус освоил искусство исцеления: его «посылали» куда только не — от Египта до Китая — в ученики к колдунам. Такие теории подпитывают и питаются западным увлечением «тайным» и по сути расистской идеей о «непроницаемо загадочном Востоке». Но они не только бесполезны — они затуманивают суть. Достаточно одного взмаха бритвой Оккама — знаменитым принципом средневекового учёного Уильяма Оккама, гласящим, по сути, что излишняя затейливость объяснений и не нужна, и нелогична, — и мы увидим более убедительный ответ совсем рядом.

Откажемся от восточной экзотики и увидим в Марьям — целительницу. Это допущение, да, но вовсе не вздорное: косвенных свидетельств много. В каждой деревне того времени была цепочка женщин, передававших дочерям и внукам знание травной и ручной медицины. Их называли «мудрыми женщинами» — или, пожалуй, точнее будет «шалфеями», «сэйдж-женщинами». Мы, конечно, не знаем, звали ли бабушку Марьям Саломеей; нет ни исторической записи, ни легенды о её дедах и бабках. Но такие женщины, как она, были повитухами и аптекарями, костоправами и перевязчицами, семейными врачами и «реаниматологами» своего времени.

В крестьянских обществах Ближнего Востока две тысячи лет назад, как и во многих крестьянских обществах и сейчас, редок был человек без шрама, увечья или гноящейся язвы. Даже сравнительно здоровые носили на себе следы тяжёлого труда. Лица, которые

мы сегодня приняли бы за сорокалетние, принадлежали двадцатилетним. Недоедание вело к низкому росту и кожным расстройствам. Гнилые зубы, открытые язвы, увечья — были в порядке вещей. Удивительно не то, что до взрослого возраста не доживали до трёх из пяти рождённых, а то, что двое из пяти проходили этот минный стан здоровья. И в немалой степени — благодаря труду «мудрых женщин».

Они знали кости и мышцы, травы и снадобья. Манипулировали суставами и костями — то, что мы теперь зовём остеопатией, — зачастую с «чудесным» эффектом: ничуть не удивительным для каждого, кто входил к мануальному терапевту согнувшись от боли, а выходил почти как Лазарь — без костылей и без боли. Они умели бинтовать растяжение, ставить перелом, чистить, дезинфицировать и защищать открытую рану. Лечить глазные воспаления, кожные хвори, укусы змей, глистов, дизентерию. И, разумеется, помогать при родах. Эти женщины — без формального образования, без грамоты, без «одобренных FDA» лекарств — спасали жизни.

Травы, что применяли Марьям и её бабушка, не были столь надёжны, как современные препараты, но это и были принятые лечебные средства. Тем же лечились и крестьяне, и элита Афин, Рима и Александрии. Там гиппократова традиция продолжалась и развивалась в трудах почитаемых врачей-мужчин — таких, как Соран, автор учебника «Гинекология», Плиний со своей «Естественной историей», и знаменитый фармаколог I века Диоскорид. Но не только мужчин. Жена Аристотеля, Пифия — названная в честь Пифии, дельфийской пророчицы, — специализировалась в акушерстве. Сенека писал похвалы мастерству своего врача — женщины. А некоторая Клеопатра — не царица египетская, другая — была столь искусна в гинекологии, что её книга оставалась стандартным руководством вплоть до XVI века.

Женщины-врачи имели серьёзное преимущество перед коллегами-мужчинами: хотя и сами были из верхов, им легче был доступ к обширному знанию деревенских «мудрых». Достаточно было расспросить собственных рабынь и служанок. И это было необходимо. Сам Плиний признавал: большая часть его «науки» основана на народной медицине. «Причина, по которой травы не известны, — писал он, — в том, что опыт работы с ними ограничен неграмотными деревенскими людьми».

Искусство травного исцеления заключалось не только в том, «что» применять, но и «как готовить» и, главное, «в какой дозе». Почти любая трава, если её сделать достаточно крепкой или взять достаточно много, действует на тело. Небольшие дозы шафрана — изысканная пряность; большие — вызывают выкидыш. Щепотка шалфея придаст тонкий вкус рагу; много шалфея действует как психотроп.

Семя, плод, масло растения могут действовать по-разному — как и кора или цветок. Одни лучше вводить в виде свечи, другие — в виде питьевого настоя или пасты для нанесения на поражённое место. Их можно смешивать в успокаивающие мази или класть припаркой — плотной массой листьев, утешительно тяжёлой на коже, как прохладная ладонь.

Марьям безошибочно находила фенхель; ради него она спускалась бы на полсклона оврага, и споры щекотали бы ноздри горьким резким запахом. Она узнаёт маленькие мясистые

трёхлопастные листочки руты с цветами как у горчицы, или крошечные жёлтые цветы и перистые серебристо-серые листья полыни — её уже тогда называли «девичьей травой». Как пастушка, знающая местность, она знала, какие растения заселяют какие склоны и вершины. Море луковиц-морских лилий на склоне напротив Каны поможет от рвоты и пищевого отравления. Дикая мята буйно растёт в низинах — как и поныне в остатках Магдалы — и помогает предупредить заражение порезов и ран. Жаропонижающие анемоны густо покрывают весной холмы, как и галангал — более острый и сладкий «родственник» имбиря, он останавливает рвоту и тошноту.

Она срезает корни и стебли, связывает в пучки, несёт домой через плечо в перевязи. Там раскладывает травы на тростниковом навесе крыши сушиться на солнце. Через несколько дней листья сморщиваются и закручиваются, крошатся под пальцами — их можно толочь в порошок.

Смолы были ещё ценнее. Саломея учит готовить мирру — от арамейского *мурра*, «горькая»: антисептик и обезболивающее с сильным ароматом, годное и как благовоние при приготовлении тел к погребению. Осенью надрежь кору мирры — смола выступит прозрачной жидкостью, а затем быстро застынет бледно-жёлтыми «слезами», прилипшими к стволу. Соскобли эти слёзы — и их можно толочь в порошок, смешивать с маслом для мазей и припарок.

Самого ценного в её время смола Марьям не видала. То была культивируемая редкость, ценившаяся на вес серебра: опобальзам — из бальзамовых деревьев в строго охраняемых рощах Ирода у Асфальтового моря — солёного озера, которое мы теперь зовём Мёртвым. Вместо него Саломея показывает, как «доить» пурпурную кору стиракса — того же «ликвидамбара». «Бедняцкий опобальзам», он был почти столь же полезен, как мирра, но особенно ценился при бронхолёгочных инфекциях и как ранозаживляющее и кожелечебное средство.

Через две тысячи лет крестьяне кое-где на Востоке по-прежнему чтут стиракс. Его считают столь священным, что его нельзя рубить; даже мертвые ветви на дрова — к беде. Ходят истории, что из него был посох Моисея — тот самый, что пустил ростки, когда он воткнул его в землю. До сих пор из его семян делают четки.

Где кончались травы и начиналась вера? Сам вопрос выдаёт современный уклон.

В Наине — деревне по ту сторону Изрельской долины от Назарета, где Евангелие от Луки рассказывает о воскрешении Иисусом сына вдовы, — одна крошечная церковь. Обычно она заперта. Надо перейти дорогу и попросить семью, у которой хранится ключ, — чтобы открыли. Ключ кажется нелепо большим для такого маленького здания и необычно витым: зато, едва войдёшь, поражает предельная простота. Никакой роскоши, никаких нагромождений золочёных икон, никаких щедрых реставраций. Почти убого. Место, где вера должна делать своё дело без подпорок «пышности и обстоятельств». И делает.

Дойдёшь до алтаря — увидишь за ним стол, будто заваленный бумажками. Приглядишься — это письма с благодарностями за чудеса или с просьбами о них. Большинство — по-

английски, хотя явно не носителями языка; похоже, паломники верят, что Иисус лучше откликается на английский. Почти все — о болезни, чаще всего близкого: «о моей дочери», «о моём внуке». Обилие записок за алтарём — свидетельство целительной силы молитвы: каждое написано в благодарность или «в предвкушении» благодарности.

Они лежат открыто, без всякого порядка, чтобы всякий мог читать и обновлять веру. Но начинаешь читать — и чувствуешь, будто вторгаешься в чужие тайны — и здоровья, и веры. Натыкаешься на письмо, начинающееся «Дорогой Иисус» и заканчивающееся «С любовью, Эдриенн», — и переворачиваешь взгляд. Это, в самом деле, письма любви.

Милях в шестидесяти к югу толстые каменные стены и ухоженные садики уединённого монастыря святого Герасима создают островок тени в тяжёлом жаре долины Иордана. Один из трёх греческих православных монахов, живущих там, рассказывает, как Герасим укротил и подружился со львом, и как «укротил» Марию Египетскую — бывшую блудницу, чья история делает Марию Магдалину образцом целомудрия. Но больше всего Герасима чтут как исцелителя. За алтарём монастырской церкви — столь богато украшенной, как нэинская проста — стена увешана «телесными» вотивами: ноги, ступни, руки, сердца, глаза, младенцы, даже будто бы почка. Крупные — почти в натуральную величину — из воска; мелкие — из тиснёного олова. «Исцели мою руку, ногу, глаз, сердце...» Каждый вотив — свидетель личной беды, боли и надежды на облегчение.

Это — дары-обеты, приносимые святому в благодарность за исцеление соответствующей части тела или в надежде на него. Традиция уходит на две тысячи лет и дальше — к храмам великой богини Исиды, прославленной на всём восточном Средиземноморье как целительницы. И они действуют сейчас не хуже, чем тогда, когда не было границы между верой и лечением — как не было её между астрологией и астрономией, между душой и телом — и даже, судя по людским личинам многих греческих богов, между божественным и человеческим.

Траволечение, народная религия, ручная терапия, магия и «официальная» религия — всё это сплавлялось в сознании людей. Ещё недавно над этим бы фыркнули как над «примитивным» и «суеверным», но современные исследования плацебо и «связи ума и тела» ясно показывают: дух действует на плоть. Всякий хороший целитель — деревенская «мудрая женщина» или выпускник Гарвардской медшколы — знает пределы науки и важность веры.

Неизбежно, здоровье сливалось со спасением. Само слово началось, в конце концов, как медицинский термин — **salve**, «целительный бальзам». Оно значило физическое исцеление и, шире, избавление от болезни и, по расширению, от смерти. Божественная функция.

Ко времени Марьям на Востоке сменилось множество богинь исцеления. Ещё в 4000 году до н. э. шумеры поклонялись Инанне, царице неба и земли, олицетворявшей троицу любви, исцеления и рождения. Позже ассирийская Иштар несла ту же роль — с акцентом на облегчении боли. Но величайшей и «долгоживущей» была Исида — её культ, вышедший

из Египта, охватил весь восточный бассейн и держался с 2500 года до н. э. далеко в VI век н. э.

Вера в Исиду была не «культом» в нынешнем смысле, а развитой культурой. Ей поклонялись серьёзные учёные — возможно, более скромные пред лицом знания, чем привыкли мы. Так, в IV веке до н. э. в знаменитом университете Александрии действовала медшкола, созданная при фараоне Птолемеи I, ученике Аристотеля. Там преподавали физиологию и патологию, а вскрытия привели к открытию кровообращения и нервной системы. Но учили и магическим текстам и народным средствам — и относились к ним всерьёз. Более того, медшкола была при храме «Исида-Медика», по сути санатории. Там рядом с молитвенным исцелением существовало множество процедур, которые и сегодня многие назвали бы «идеальным спа»: наркотический сон и сновидения, массажи, травы, очищения, кровопускания, минеральные ванны и вдоволь священной ключевой воды — прямо из источника.

Священников-целителей в Исида-Медике звали *therapeutae* — «терапевты»; это же имя позже приняло египетское иудейское монашеское движение, где женщины участвовали наравне с мужчинами. Ранний гностический христианский кружок перат («Перёты») поклонялся Исида как «правой руке Божией», пользуясь медицинскими образами и демонстрируя тонкое знание анатомии. И даже когда христианство вытеснило древние формы, Исида выжила в нём: гностики «перелили» её в Софию, персонификацию божественной мудрости, и в «Премудрости Соломона» София наставляет автора в «природе всего живого», включая лечебные свойства растений и корней.

Во времена Марьям Исида всё ещё поклонялись как великой целительнице в крупных городах — Коринфе, Александрии, Риме. В Афинах же у неё давно была «семейная» конкуренция — Асклепий и его дочери Гигея и Панацея. Рельеф IV века до н. э. показывает Гигею в «ленивой» позе, одна рука на бедре, другая упёрта в стену за сидящим отцом. Поза, лицо, даже одежда поражают современностью, словно манекенщица на подиуме. Длинная тонкая туника повторяет линии тела, а накинутый на плечи шарф небрежно спадает за спину. Голова склонена, взгляд почти вызывающе говорит: «А что, не нравится?»

Евангелия тоже смешивают физическое и метафизическое исцеление. Написанные в конце I века н. э., они дети своего времени. Как проповедник, Иисус предпочитал исцеление верой травам, но ясно, что он был хорошо натренирован и в народной медицине, и в том, что мы сегодня назвали бы «хорошей врачебной практикой». У Марка, когда он «воскрешает» дочь Иаира, сказав, что она спит («талифа куми»), он тут же велит родителям дать ей поесть. В этом он до смешного похож на моего отца — сельского врача в Англии: «Это простая зараза», — успокоит он мать, а на выходе добавит: «Пусть что-нибудь поест и позвоните мне утром». А когда Иисус смешивает слюну с глиной и мазет глаза слепому у Иоанна, велит потом смыть — он совершает известный народный обряд. Тот же желтоватый каолин до сих пор у старших деревенских палестинок добавляют, чтобы «гасят» брожение в виноградных рецептах — и вводят в жаропонижающие свечи и компрессы.

Но, конечно, в глине и слюне было больше, чем «физика». Символизм ясен: прах и вода, неживое и живое, небо и земля — противоположности, дающие магический эффект в

соединении. Этот сюжет уже был в древнеегипетской легенде: Изида месит слюну великого Ра с глиной, творит священную змею, та жалит его; бредящий от яда Ра раскрывает своё священное имя — и передаёт силу Исиде. Имя знать — значит владеть силой. «Знание — сила» — истина столь же древняя, как одна из старейших легенд о сотворении — об Адаме и Еве. Срывая яблоко с Древа познания, Ева тянулась не к пище, а к мудрости — «пище ума», если угодно. Но раз мудрость — сила, её жест был угрозой высшей власти. Её прокляли и вместе с Адамом изгнали из Эдема, обнажив его как место добровольного невежества.

Неудивительно, что имена богов часто табуировали. Знать имя и произнести вслух — значит «украсть» божественную силу. В Палестине, в Египте, в Риме тоже — произнесённое божественное имя принуждало бога послушаться говорящего. Римские жрецы взывали к богам-покровителям осаждённых городов — «бросить» город и перейти на их сторону. Города и провинции переименовывали с каждым новым завоевателем — традиция, не прервавшаяся (Иерусалим только за последние две тысячи лет имел не меньше восьми имён). Назвать что-то — город или бога — значит подчинить.

То же — с демонами. Мы до сих пор «боремся с личными демонами», а важнейшая часть современной психотерапии — назвать их и встретиться с ними. Две тысячи лет назад процесс был быстрее — и часто столь же эффективен. И физические, и душевные болезни воплощались в персонифицированных «демонах», которых изгоняли.

У каждого демона — своя «власть» над теми или иными частями тела и души. Свитки Мёртвого моря — священные тексты пустынных монастырей ессеев — включали не только «апокалипсис» и «мудрость», но и списки имён бесов с перечнями органов и болезней, над которыми те господствуют. Целитель, знающий эти имена, вызывал нужного по имени и повелевал уйти, удваивая силу приказа формулой «во имя всемогущего бога» — например: «во имя Отца».

Амулеты того времени, делавшиеся для знати, что могла их оплатить, следовали устоявшимся устным формулам экзорцизма. Один сохранившийся палестинский амулет гласит: «Заклинаю тебя, дух, именем „Я есмь Сущий“ и именем святых ангелов Его, — отступи и будь изгнан, и держись далеко от Клары, дочери Киранс. Нет более тебе власти над ней. Будь связан и удалён от неё». Другой обращается к самой лихорадке: «Заклинаю тебя, жар и немощь, именем Абраксаса, поставленного над вами, — да исторгнет он вас из тела Симона, сына Каттии. Делаю это именем начертанных букв Именования».

Кто произносил такие заклинания — кто знал имена — тот, по крайней мере на миг, обладал властью добра над злом. Исцеление «во имя» считалось знаком благодати. Но и обратная сторона была неизбежна: болезнь можно было счесть «отсутствием благодати». Если «хорошая вера» лечит, «плохая» может и заболеть.

«Равви, кто согрешил — он или родители, что родился слепым?» — спрашивают ученики Иисуса у Иоанна. Они не жестоки — лишь отражают проблему, которую две тысячи лет спустя исследует Сьюзан Зонтаг в «Болезни как метафоре», книге, начинающейся почти библейской строкой: «Почти невозможно вселиться в „царство больных“, не будучи

предубеждённым яркими метафорами, которыми оно увенчано». Прослеживая метафоры болезни, Зонтаг уходит к «Илиаде» и «Одиссее», где болезнь — то кара за личный проступок, то наказание за общий грех, то вина предков. Но может быть и демоническим вселением, и естественной причиной. Приписываемая причина сильно зависит от того, что умеют лечить. «Теории о том, что болезни вызваны душевными состояниями, — пишет Зонтаг язвительно, — всегда показатель того, насколько мало известно о „физическом рельефе“ болезни». И конкретно о современном отношении к раку: «Любая болезнь, окружённая тайной и вызывающая острый страх, будет ощущаться морально, если не буквально, заразной... Контакт с кем-то, поражённым „злой мистерией“, неизбежно воспринимается как проступок, хуже — как нарушение табу».

Поразительно в евангельских рассказах то, что Иисус этого страха не имеет. Его последователи боятся «нечистой» кровоточивой женщины и прокажённого — он нет. Говоря ученикам, что не он и не родители «согрешили», он демонстрирует приземлённое знание причин и следствий — знание, которое должен был почерпнуть у тех, кто его воспитал. То есть у деревенских «мудрых».

Но если Иисус и не видел в индивидуальной болезни прямой кары, то «состояние тела народа» он видел именно так. «Изгнание бесов» имело более широкое метафорическое значение: изгонять надо и коррупцию, и чужую власть. «Очищать храм» и освобождать Иудею и Галилею от влияния Эллады, Рима и Ирода. Изгонять человеческих «бесов».

В этом он весь — в пророческой традиции. Метафора болезни и здоровья была национальной, а не только личной — так её и употребляли великие пророки. «Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся, — говорит Исаия. — Тогда хромым вскочит, как олень, и язык немой будет петь».

Болезнь и исцеление вновь и вновь звучат в апокалиптических текстах ессеев — само их имя, вероятно, от арамейского *аса*, «исцелять», — значило не только физическое лечение, но и, предвосхищая позднейшую каббалистическую идею *тикун олам*, «исцеление» мира. Бог «отпустит узников, откроет слепцам глаза, поднимет угнетённых», говорится в «Мессианском апокалипсисе» I века до н. э., а также «исцелит больных, воскресит мёртвых и благовествует нищим».

Исцеление было глубоко политизировано. От этого никуда не деться. Слияние медицины, религии и национального стремления было в культуре «защито».

В таком мире самое трудное знание — знание Марьям: и здоровье, и болезнь естественны; нет в них ни награды свыше, ни кары. И никакой «фокусничины», вроде той, что она видела на рынке Магдалы, где самозванные «чудотворцы» бормотали тарабарщину, перерезая петуху горло, а потом раскручивали птицу над больной, забрызгивая её кровью. Марьям жалела тех, кто выстраивался отдать последнее за богатые амулеты с молитвами и семенами внутри, или за зелья из порошка ящеричьих хвостов, лягушачьих глаз и крыльев летучих мышей. И отворачивалась, чувствуя дурноту, от аптекарей, что вкладывали в мешочки волосы, срезанные с головы распятого, — «от жара», или гвозди с крестов — «от нападения».

«Шарлатаны», — говорила бабушка, сплёвывая с отвращением. — «Жулики. Наживающаяся мразь. Слушай, дитя: чтобы лечить, не нужно убивать. Не нужны жертвы — ни ящерицы, ни курицы, не то что доброго человека, распятого за смелость говорить и противиться неправде. Никакой магии вот тут», — она стучала указательным пальцем по лбу. — «Только знание. Воля Бога? Знание и есть воля Бога».

Вот почему Ева и вкусила яблоко с Древа познания. Не чтобы бунтовать против Бога, а в рамках божественного замысла — привести человека к жизни — к настоящей, сознательной, знающей — вместо временной приглаженной декорации Эдема. Потому-то её имя на иврите — Хава, «жизнь».

Но быть «Евой» во времена Марьям было столь же трудно, как и самой Еве. Хоть «мудрые женщины» и не претендовали на откровение, их умение угрожало тем, кто заявлял «священную монополию» на исцеление. Апокрифическая «Книга Еноха» I века атаковала их в лоб, утверждая, что «падшие ангелы» — демоны — научили «дочерей человеческих» ядам, лекарствам, заклинаниям, призываниям и колдовству.

Такие нападки показывали нервозность храмового священства. Плохо уже то, что «сила исцеления» практиковалась кем-то, кроме них — с их свитками заклинаний и рецептов под замком в храмовых архивах. Ещё хуже — что это делали неграмотные крестьянки. Но самое серьёзное — деревенские целительницы бросали политический вызов храмовой власти. «Сила исцелять» — это сила. Это значит: рок — будь он «от Бога» или от людей — можно не принимать пассивно. Фразы, до сих пор слышные в восточных деревнях — «Так уж есть», «Что поделаешь?», «На всё воля Божья», — ставились под вопрос мастерством «мудрых женщин». Есть, оказывается, что делать. «Волю Божью» можно направить иным образом человеческим вмешательством. Значит, человек может влиять на судьбу. Может утверждать независимость.

Для храмовой верхушки, цепляющейся за власть и привилегии, это — опасная весть. Две тысячи лет назад, как и сейчас, религия чувствовала угрозу от науки. Только тогда «учёными» были практики альтернативной медицины — народные целители. А «официальная» медицина, под властью храма, старалась держать лечение строго в религиозных границах.

Галилейским «мудрым женщинам», вроде Саломеи и Марьям, везло: они жили далеко от Иерусалима и могли работать без преследований. Другим, южнее, в Иудее, свободы было меньше. Поскольку исцеление верхами объявлено «функцией божественной», их труд рисковал считаться «магией» — а если он, как неизбежно иногда, не удавался — «чёрной магией» или делом демонов. Самый печально известный пример случится через шестнадцать веков в колониальной Америке: многие из женщин, гонимых при салемских «судебных процессах над ведьмами», были повитухи и целительницы. В бесконечной политизации исцеления их умение приписывали «падшим ангелам», а не добрым.

В этом ужасная ирония. Если Марьям и вправду была повитухой и целительницей — а силы и манера её сына сильно на это указывают, и что именно она передала ему своё искусство,

прервав «женскую линию» ради сыновнего призвания, — ей повезло родиться в Галилее I века, а не позже и в другом месте. В Массачусетсе XVII века она рисковала бы костром — в полном религиозном восторге и во имя собственного сына — как «ведьма». И, что ещё тревожнее, сегодня она могла бы стать мишенью сходного рвения в американском обществе: тех, кто убивает и зовёт себя «за жизнь».

Марьям, разумеется, знала о предотвращении рождения не меньше, чем о помощи при нём. Контрацепция была широко распространена по всему Средиземноморью её времени. Самые популярные способы — прерванный половой акт (Гиппократ рекомендовал; палестинские раввины позже одобрили как «молоть внутри и вейть снаружи»), анальный секс («пахал в саду, а выливал на кучи навоза», — как сказано позже в Талмуде), длительное грудное вскармливание, эстрогенные травы внутрь и спермицидные смолы вагинально — в свечах и тампонах. А если всё остальное не помогало — аборт.

Аристотель и Платон оба одобряли раннее прерывание беременности. «Следует ограничивать размер каждой семьи, — писал первый в „Политике“, — а если зачато сверх предела, вызвать выкидыш до того, как в зародыше начнутся чувство и жизнь». Идею столь горячо подхватила знать, что к I веку римская аристократия столкнулась с массовым бесплодием — вот почему так много императоров усыновляли наследников: своих выживших не было. Плавт, Цицерон и Овидий упоминают спринцевания после секса. Святой Иероним в двадцать втором послании позже напишет о «девушках, что заранее вкушают свою бесплодность и убивают человека ещё до того, как посеяно семя». Полибий во II веке до н. э. сообщал, что греческие семьи ограничивают себя одним-двумя детьми — ясно, что с контрацепцией и абортom.

Знаменитый гинеколог II века Соран Эфесский перечислял множество контрацептивных и abortивных средств на растениях, активные свойства которых мы сегодня знаем. Его любимым был корень «гигантского фенхеля» — **Ferula silphium** — что оказалось роковым для самого растения. Открытый греками на североафриканском побережье в VII веке до н. э., он стал столь востребован как контрацептив и abortив (эффект — по дозе, как и у современных «утренних после» — это просто ударные дозы контрацептивного эстрогена), что к IV веку н. э. вымер. Разные виды фенхеля до сих пор используют для вызывания выкидыша деревенские целители по всей Азии.

Другими травами были полынь-артемизия — названная в честь девственной Артемиды за способность «сохранять женщин без самой заметной приметы недевственности» — беременности. Ягоды «дерева целомудрия» не делали вас целомудренной; они лишь сохраняли его вид — благодаря контрацептивному действию. Семена дикой руты — той самой, что Офелия раздаёт в «Гамлете», с той же ассоциацией — толкли и варили для стимуляции родов, а в крепкой дозе — для aborta. Руту так же используют бедуинки, мексиканские и индийские деревенские женщины.

Кроме трав, порой применяли «секреты» животных, вроде пены изо рта беременной верблюдницы. Нелепо? Мерзко? Не если помнить, что экстракт мочи беременной кобылы сегодня — один из самых продаваемых препаратов Запада: эстроген под торговой маркой **Premarin** — контрацептив, «утреннее после» и ЗГТ.

Если так широко распространённые две тысячи лет назад контрацепция и аборт удивляют, вспомним: нынешний религиозный уклон против них сравнительно недавний. В XI веке знаменитый исламский врач Ибн Сина (Авиценна) прописывал abortивы на ранних сроках, а арабские врачи рекомендовали «барьеры» — шерстяные тампоны, пропитанные оливковым маслом, льнянкой, кедровой смолой или опобальзамом, — а также раздражающие вагинальные свечи, вроде молотой сосновой коры, как abortивы. Талмудические раввины III–IV веков, писавшие про «веять снаружи и молоть внутри», одобряли ранний аборт «корневыми питьями», считая плод жизнеспособным лишь по прошествии сорока дней от зачатия. К тому же, в своей странной мизогинии, они распространяли заповедь «плодитесь и размножайтесь» на мужчин, но не обязательно на женщин. А может, просто были мудры, чтобы согласиться с устоявшейся практикой.

В нашей самоуверенной «XXI-вековости» мы склонны воображать, будто мир был невежествен до «современной науки», а знание идёт по прямой. Улик против — хватает. Уже один факт, что «креационизм» уравнивают с эволюцией как «науку» в некоторых школах США, должен заставить понять: знание движется вперёд и назад в зависимости от нравов времени и места. Так американские блюстители «нравов и вкуса», вероятно, ужаснулись бы особенно прекрасной статуэтке XIII века до н. э. в Израильском музее в Иерусалиме: женщина — хананейская богиня плодородия — у которой передняя часть торса откинута, и видны близнецы в её утробе, каждый тянется к груди, а она длинными изящными пальцами раскрывает вульву для рождения.

Как начинается жизнь, — секретов не было. Никаких аистов. Боги были существами сексуальными, «по образу» своих творцов — верящих в них. Пусть точной физиологии спермы и яйцеклетки не знали, но «семя», как его «сажают» и как оно «всходит», понимали отлично. Любой земледelec — да. Сперма — семя, как у Онана, «пролившего своё семя» в Писании. Матка — инкубирующая почва. В крестьянской культуре легко увидеть, как женскую плодovitость сводят к плодovitости земли: семени — питание, рост, плод. Как и исцеление, плодородие несло отблеск чудесного и божественного — отблеск, который и сейчас виден на лице женщины, несущей первого ребёнка.

В таких условиях abortивы не давали легкомысленно. Если угрожала жизнь матери — выбирали её жизнь, и повитуха была в самом точном смысле своего ремесла — **mit-wife**, «с женой». Если беременность — плод изнасилования (а во времена, когда на войне не различали «бойца» и «мирного», изнасилования были пугающе часты), ни одна деревенская целительница не стала бы жестоко требовать вынашивать. И если семья обнищала до того, что «ещё один рот» нечем кормить — искусственное прерывание было принятым выходом. Те же причины, по которым женщины ищут аборт сегодня — везде.

Как целительница, Марьям была столь же искусна в контрацепции и abortе, как и в акушерстве. И мы окажем ей куда больше чести, признав это — признав её женщиной реального знания и силы, — чем игнорируя или отрицая. Ведь именно это знание ставит её в живую связь со всеми женщинами мира. Её травное мастерство не только спасало жизни — оно делало её сильной защитницей бедных и принижённых — тех, кто искал у неё хоть

немного контроля над собственной судьбой — и, в каком-то смысле, ищет его до сих пор. Она держала в руках силу выбора — и держала её в равной мере для себя, как и для других.

Феминистские католические учёные много писали о том, что она добровольно согласилась на зачатие и беременность. «Богу был нужен её „да“, — сказал мне один иезуит в Иерусалиме. — Её согласие стать матерью — пророческий акт в чистом виде». Это верно для Марии-легенды, но безмерно недооценивает настоящую Марьям. Её «да» было куда деятельнее простого согласия. У неё был реальный выбор. Она могла выбрать, беременеть или нет. И если по какой-то причине беременность была не её выбором, она всё равно могла выбрать не доносить. Она знала как.

Короче, Марьям воплощает разрешение так называемого «абортного спора». Зная всё и о контрацепции, и об аборте, она выбрала беременность и рождение. Она была, современными словами, и «за жизнь», и «за выбор».

Глава 5

Раз в месяц, накануне новолуния, Марьям приносит дары. Она лелеет этот час суток. Свет ложится золотом на холмы, лакируя их тёплой, насыщенной краской, а затем небо медленно уходит в глубину: сперва — пронзительно синее, потом — мягкое тёмно-пурпурное, которое почти неощутимо сгущается в чёрное. «Час богини», — называет его Марьям.

Она пользуется своим, простым алтарём: три плоских камня, уложенных один на другой под её любимым дубом. И дары у неё тоже простые. Порой она приносит возлияния: первую, ещё тёплую от вымени, козью молозиву, скажем, или девственное оливковое масло из первого отжима года. Она держит чашу на вытянутых руках и медленно наклоняет, чтобы жидкость струилась тонкой линией, разливаясь по верхнему камню и затем медленно стекая по сторонам. В другие разы она приносит плоды: три колоска нежной молодой пшеницы, перевязанные соломинкой в маленький букет, или веточку первого цветка виноградной лозы. Она кладёт их на верхний камень, зная, что ночью или ветер, или какое-нибудь малое существо — дух богини — унесёт их. И раз в год, в самый короткий и тёмный день зимы, она приносит маленькие треугольные пирожки, наполненные до разрыва зёрнами граната или мака: особые пироги Девы, переполненные семенами плодородия.

Это — дары, а не жертвы. Жертву приносят из страха, когда плоть и кровь животного заменяют твою собственную плоть и кровь. Дары приносят из любви. Те, кто умиляет божество жертвой, делают это, чтобы отвратить беду; те, кто услаждает божество дарами, ищут плодородия. «Питай божественное — и божественное воспитает тебя», — говорит Саломея.

Женщины по всему палестинскому селу приносят дары именно так, принося плоды своего труда. Священников, чтобы стояли между ними и божеством, нет. Это частное и личное, и существует в иной сфере, чем Яхве и его храм далеко в Иерусалиме. «Да не будет у тебя иных богов пред лицом Моим», — сказано в заповеди, а не «да не будет у тебя иных богов вообще».

Марьям до сих пор помнит, как впервые услышала историю о Великой Деве. С широко раскрытыми глазами, с большим пальцем во рту, трёхлетняя, едва осмеливаясь дышать, она слушала, как Саломея напевно рассказывает песнь Исиды, той, что сделала силу женщин равной силе мужчин. Это была песнь о жизни и смерти и вновь о жизни. Песнь тайны жизни.

Ещё до того, как что-либо иное существовало в стране Египет, далеко на юге, Нут, великая богиня неба, и Геб, отец земли, породили близнецов — девочку и мальчика. Они назвали их Исидой и Озирисом. Двое были столь тесно переплетены, что стали любовниками ещё до рождения, в материнской утробе, и таковыми же остались и при жизни. Со временем у них появился младший брат, Сет, но его сжигала ревность к их близости. Тогда он убил Озириса, разрубил его тело и разбросал части по всей земле. Мужское начало упало с семенем Озириса в великую реку, которую зовут Нилом, и поэтому та река дарует плодородие всюду, где разливается по земле.

Исида погрузилась в глубокий траур по своему возлюбленному и брату, причитая и оплакивая, пока искала взад и вперёд части его тела. Она собирала его по кусочкам — орган за органом, конечность за конечностью — пока не нашла всего, кроме одной, жизненно важной части, которую великая река присвоила себе. Тогда она принесла его домой и вновь сложила его тело. И когда закончила — возлегла с ним. Тем самым она возвратила Озириса к жизни, ведь так был зачат их сын, бог Гор.

Марьям слышала этот рассказ бесчётное число раз с тех пор, как ей было три года, но с готовностью попросила бы Саломею повторять его ещё и ещё. Её держит в плену сила сюжета — скорбящая сестра, воскресший брат, два сплетённых, сочетанных аспекта — женский и мужской — единой божественной тайны. Ей и в голову не приходило спросить, как именно Исида возлегла с мёртвым Озирисом: это божественная история, а боги могут то, чего не могут люди. В этом и смысл богов. Отсутствующий фаллос — не преграда физической любви. И также — не преграда важнейшей стороне тайны Исиды: её девству. Ибо только дева может воскрешать мёртвых, творя и пересозидавая жизнь. Только дева способна выжать сущность плодородия.

Вот почему из всех богов именно к Исиде обращаются женщины — будь то галилеянки или иудейки, гречанки или римлянки, сирийки или египтянки. Она понимает женщин так, как может понимать лишь мудрая женщина. Два из её великих титулов — Владычица Спасающая и Великая Чародейка, ибо она — госпожа искусства медицины, та, к которой вызывают деревенские целительницы и роженицы. В ней — скорбь жены, повивальная забота о жизни, сострадание лекарки, преданность возлюбленной, нежность кормящей матери. Она — всё то, чем является женщина, и потому женщины во всяких бедах призывают её — принося локон детских волос, или лампаду, зажжённую во имя её, или просто простую молитву. Они черпают в её присутствии утешение и силы.

Саломея за годы поведала множество историй об Исиде, и как водится с историями о богах, версии не всегда сходятся. Не беда. У каждой истории — своя тайна, и есть новые, множественные тайны, скрытые в противоречиях. В одних Озирис играет тройную роль: он не только возлюбленный и брат Исиды, но и её сын — узор, что через два века отзовётся в гностическом Евангелии от Филиппа, где Марьям назовут «сестрой, матерью, супругой»

Иисуса. В других Гор занимает место Озириса, и ещё будучи беременной, Исида говорит о нём: «Он будет владычествовать над этой землёй. Он станет нашим господином — этот бог, который пока только зародыш».

Марьям, всего тринадцать, кладёт ладони на округлившийся живот и тихо, с удивлением повторяет эти слова. Знать судьбу своего ребёнка, знать, что носишь величие... Она закрывает глаза — и отваживается представить, как произносит слова Исиды. И впервые ощущает толчок малыша.

Она шепчет тихую благодарственную молитву. «Мирионимос», — бормочет она — греческое имя Исиды, которое всегда заставляет её улыбнуться, словно бы перекликаясь с её собственным именем. Мирионимос — Та, У Которой Множество Имен.

Она и не подозревает, что сотни лет спустя после её смерти она и сама станет мирионимос — с многими теми же именами, что и у Исиды: к примеру, Царица Небесная, или Та, Что Венчана Звёздами, или Морская Звезда. Что образ Исиды-Лактанс — Исиды, кормящей грудью младенца Гора, столь любимый в живописи и скульптуре, — сольётся с каноническим изображением её самой и её ещё нерождённого сына. Что версия её самой — под именем Дева Мария — в конце концов займёт место Девы Исиды — буквально займёт её место, когда храмы Исиды будут переосвящены Марии.

Скажи кто-нибудь Марьям всё это — она была бы потрясена, оскорблена, даже испугана. С силами богов так легко не обращаются, чтобы дерзнуть узурпировать их.

В монастырской школе, где я училась ребёнком, нас учили думать о язычниках как о безбожных существах, живущих во мраке невежества обо всём святом. Неважно, что все великие мыслители древности были язычниками и что им не доставало ни души, ни веры, ни чувства сакрального. Напротив, всего этого у них было куда больше, чем у большинства из нас сегодня. Чувство священного проникало каждый аспект повседневной жизни; оно было вплетено в повседневность, и трепет и изумление были частью бытия.

Не то чтобы те великие мыслители называли себя язычниками. Тогда, как и теперь, слово употребляли уничижительно. Оно восходит к тому же корню, что и «пахарь», «селянин» (латинское **pagus** — сельский округ), так что для римской знати крестьянин по определению был язычник — и наоборот. Благородные афиняне, спартанцы или римляне никогда в жизни не сочли бы себя «язычниками»: они были верующими, мужчинами и женщинами доброй веры. И верили во многих богов.

Лишь много лет спустя после монастыря я поняла: язычество в сущности означает политеизм, и большинство политеистов признавали одного бога над всеми. Будь то Эл или Уран, Зевс или Юпитер, Лах или Яхве — он столь велик и столь удалён, что обращаться к нему напрямую невозможно. Потому люди и обращались к великому сонму доступнее стоящих богов, готовых заступиться за них. Даже на Западе люди делают это и теперь. Если бы мы могли отпустить предрассудки — например, нашу похотливую ассоциацию язычества с нимфами, пляшущими нагими на рассвете, — пришлось бы признать: при всей нашей гордости монотеизмом мы куда более политеистичны, чем нам кажется.

Доля политеизма вшита в католицизм через идею Святой Троицы, к примеру, и через необъятную плеяду святых, к которым взывают верующие. Святые — да и сама Марьям — стали заступниками, которых призывают «по делу», так же как две тысячи лет назад призывали Исиду ради исцеления. Называем ли мы их «младшими богами» или «пророками», «святыми» или «праведниками» — это священные фигуры, с которыми можно вступить в отношения. Они слышат человека и могут «ходатайствовать», и их можно «умилостивить» для этого цветами, свечами, дарами: приношениями. Это — проявления неистребимой нужды очеловечить божественное — дать ему имя, которое можно произнести, и лицо, которое можно увидеть.

Похоже и в отношении иудеев: благочестивые чтут места погребения библейских праотцев — могилу Авраама в Хевроне, Рахили в Вифлееме — и знаменитых раввинов, к чьим гробам особенно сефардские евреи совершают паломничества в их дни памяти, устраивая мангалы и столы прямо на кладбищах. И несмотря на все запреты «идолопоклонства», ультраортодоксальные евреи почитают камни Западной стены. Неважно, что она, строго говоря, никогда не была частью храма, а лишь участком подпорной стены, выстроенной Иродом; современные евреи молятся у неё, целуют её огромные тесаные блоки, вкладывают письменные просьбы в щели между известняковыми глыбами.

По всему Средиземноморью пережитки древних пантеистических культов выживают в языческих верованиях, впитанных монотеистическими. Плод фигового дерева в одном монастыре на Западном берегу, к примеру, исцеляет бесплодие — несмотря на то, что женщинам нельзя переступать порог. Целебный источник на юге Галилеи почитают местные мусульмане, назвав его в честь еврейского поселенца начала XX века. Листья акации у могилы марокканского раввина исцеляют искалеченные конечности.

Ничего странного, если вспомнить: на Западе языческие традиции встроены в самые агностические будни. Взять названия дней недели: в английском и немецком — от скандинавских богов; во французском и испанском — от римских. Мы почитаем языческих божеств всякий раз, когда назначаем встречу.

Возможно, одно из лучших описаний язычества принадлежит библиистке Пауле Фредриксен: «пышное родное религиозное рагу традиционного средиземноморского общества». Рагу, и впрямь — пир священного разнообразия. «В дохристианскую эпоху, — пишет историк религий Вальтер Буркерт, — разнообразные формы культа... никогда не исключительны; это — варианты, направления, опции внутри одного пёстрого, но цельного конгломерата древней религии».

Боги древности, словом, были удивительно терпимы. Куда более, чем жестокие и исключительные боги современных фундаменталистов, чья жажда крови — будь то мусульманские смертники, христианские убийцы врачей-абортологов или еврейские нападения на палестинских крестьян, собирающих оливки — выглядит первобытной в сравнении.

Яхве был куда снисходительнее к другим богам, чем его первосвященники и пророки. Марьям была права: «не богов иных пред лицом Моим», а не «никаких иных богов вовсе». Первенство, а не исключительность. В самом деле, весь еврейский Танах можно прочесть как историю не триумфа монотеизма, а его провала — пророки снова и снова клеймят народ за следование иным богам.

Ханаанские, египетские, вавилонские и более локальные традиции держались и во времена Марьям. Держатся и теперь. Множество ближневосточных суеверий и малых обрядов корнями уходит в куда более древние религии: плевков «от сглаза», к примеру, или поднятая открытая ладонь — знакомый амулет хамса. И религии продолжают «скрещиваться» и переплетаться куда больше, чем мы осознаём.

Евреи, что избегают проходить под лестницей или «скрещивают пальцы» «на удачу», творят христианские ритуалы (и лестница, и пальцы отсылают к кресту распятия). Христиане, что сверяются с газетным гороскопом, живут в логике Вавилона, где звёзды и планеты — боги судьбы. Мусульмане, обращаясь лицом к востоку — к Мекке — обращаются к восходящему солнцу — фокус древнего египетского солнечного культа.

Ислам прямо признаёт еврейских пророков до Мухаммеда, равно как Иисуса и Марию. Христианство не только осознаёт свои корни в Еврейской Библии; евангелия прилагают огромные усилия, чтобы представить Иисуса воплощением библейского пророчества. Иудейские практики в храме Ирода были сильно окрашены храмовыми религиями по всему восточному Средиземноморью и Центральной Азии.

Эта взаимопроницаемость — повод для радости. Религии, которые, как нам кажется, разделяют нас, на деле связывают. Ни одна религия не возникает на пустом месте — вне влияния существующих религий той культуры, где она появилась. Как говорит бостонский теолог Харви Кокс: «Каждая вера — как знаменитый лук Пера Гюнта. Попробуйте снять всё, что она впитала от других вер, которые сами уже конгломераты, — и под каждым слоем найдёте лишь новый слой... Гений веры — в её особом способе сочетать, а не в какой-то неповторимой внутренней сущности».

Дочь Израиля, поклонница Яхве, приносящая дары Исиде, не изменяла единому великому Богу. Она разговаривала с одним из обликов божественного — с богиней важнейшего в крестьянском обществе — плодородия. И что же такое суть истории Марьям, дошедшей до нас, как не чудесное плодоношение?

«Но была ли Мария действительно девой?» — обманчиво прост вопрос, искренне задаваемый верующими и насмешливо — скептиками. Первые хотят знать, возможно ли это; вторые априори уверены, что нет.

В современной логике девство сведено к бинарному ответу: либо да, либо нет. Поскольку мы определяем девство по наличию гимена, это кажется разумным. Гимен либо цел, либо нет — простой физиологический факт, но даже в XXI веке он обременён колоссальным культурным весом.

Сам язык, которым мы говорим о девстве, нагружен. Как ни архаично это звучит, мы всё ещё говорим о «потере девственности» — фраза, которая несёт не просто «утрату», но и пассивность. Мужчина «берёт» девственность девушки, подразумевая, что она — обманутая или соблазнённая жертва. Как в викторианской порнографии, где невинных «берут» циничные распутники, в такой речи есть похотливость, ощущение бестрепетной мужской власти и женской обморочной беспомощности, которая не делает чести ни одному полу.

Мы по-прежнему считаем быть девой — значит быть невинной. Невинной, то есть, в отношении секса. Но разве это не ставит вопрос: почему нам следует быть «невинными» в отношении секса? Быть невинным — значит быть свободным от морального зла, быть без вины, не творившим зла. Значит, мы считаем секс моральным злом, виной, пороком? Что бы ни говорил разум, язык выдаёт нас. Век XXI, а часть нас всё ещё держится за старые дуализмы «дева — блудница», «хорошая — плохая», «невинная — распутная» — термины, обильные для девушек и женщин, но почти отсутствующие для юношей и мужчин, среди которых сексуальный опыт как минимум терпим и чаще — одобряем.

Идея девственности как «драгоценного товара», который можно «потерять» — не по небрежности, а скорее в смысле «потерянной души», обречённой и проклятой, — часто рационализируется идеей «целостности». С этой точки зрения, целый гимен — видимое свидетельство состояния совершенства. Как только его нет — женское тело якобы уже не цело: «использованный товар», «испорченное добро».

Оставляя в стороне саму идею женского тела как «товара», «использованного/нет», противоречия этого взгляда должны бы поставить в тупик его ревностнейших хранителей — фундаменталистов «чистоты». Если вы за политизацию частной жизни, ныне называемую «семейными ценностями», материнство должно быть состоянием целостности и полноты. А значит — и половая жизнь, ведущая к материнству.

Проблема в том, что сама сексуальность политизирована — вот почему маленькая биологическая деталь — «всего лишь» перепонка — разрастается до гигантских размеров. Вот почему гимен стал куда более фетишизированным объектом, чем сходная мужская перепонка — крайняя плоть. Отсутствие крайней плоти не свидетельствует о сексуальном опыте; отсутствие гимена обычно — да.

«Гимен и крайняя плоть — биологически незначимые ткани, за которыми стоят колоссальные психологические сюжеты», — пишут психоаналитики Дианна Хольцман и Нэнси Кулиш. Во всяком случае, мы предполагаем, что они биологически несущественны. Правда в том, что этого никто не знает. Хольцман и Кулиш проделали обстоятельный поиск по гинекологической литературе в попытке найти данные о физиологическом значении гимена — и нашли... ничего. Их вывод: «У гимена нет известной анатомической или физиологической функции».

То, чего не понимают, становится и интригующим, и манящим, питательной почвой для мифов и суеверий; когда речь о женской сексуальности, мифы и суеверия умножаются бесконечно. В отсутствие известной физической функции, особенно в культуре, где

предполагается, что всякая вещь «имеет функцию», гимен сохраняет ауру тайны. Отсюда — «колоссальные психологические сюжеты». Во времена Марьям, однако, отношение к гимену было куда приземлённее.

Само слово — древнегреческое, означающее «перепонка», и заодно — брачная песнь, гимн. Оно было персонифицировано как Гименей, бог брака — стройный юноша с горящим факелом и вуалью, умерший в свою брачную ночь. Символизм «пламя/секс» и «вуаль/гимен» прозрачен. Современному зрителю это почти смешно, если бы не то, что невесты всё ещё поднимают фату для поцелуя в конце церемонии, что и теперь говорят «пойти под вуаль» — когда женщины становятся монахинями, и что телевизионные фильмы до сих пор «переключаются» на полыхающий камин, когда сцена становится жаркой. Но самое занятное — пол божества. Словно гимен — единственная часть женского тела, делающая её как бы «не-женщиной», и потому Гименей должен умереть. И только тогда женщина становится вполне женственной. Только тогда — может зачать. Только тогда — плодородна.

Это, пожалуй, говорит о том, что две тысячи лет назад девственность была скорее обузой, чем достоинством — особенно при столь высокой материнской и младенческой смертности. Чем раньше девушка начинала сексуальную жизнь, тем выше её потенциальная плодовитость. И чем больше она рожала, тем выше вероятность, что хотя бы двое выживут до взрослости.

У целого гимена, однако, была одна особая ценность: он гарантировал, что первенец — действительно ребёнок отца. В крестьянской культуре, подобной культуре Марьям, где непрерывность семьи на земле — высшая ценность, гимен был единственной абсолютной гарантией отцовства (и оставался ею до появления ДНК-тестов). Отсюда — суровое наказание во Второзаконии, игнорируемое во времена Марьям вместе с большинством других строгих предписаний, — смерть побиванием камнями «ложной девы». Преступление было юридическим: если первенец — мальчик, гимен определял право наследования. Представившись невинной, а будучи опытной, женщина ставила под сомнение порядок наследства. Физическая девственность была не вопросом морали, а экономики.

В этом — суть легендарного акцента на девственном зачатии Марии. Это было необходимо для будущей идентичности её сына: гарантия божественного отцовства.

Но хоть это и объясняет, почему Мария «должна была» быть девой — «стать ею», как бы, — это не помогает с вопросом: могла ли реальная Марьям ею быть. Кажется, наш современный акцент на физиологии вводит в заблуждение: мы задаём неверный вопрос. А те, кто пытается найти ответ в лингвистике, задают лишь иной вариант неверного вопроса.

Самый будничный способ справиться с темой девственности — не гимен, а заметка, которую часто делают библеисты: автор Евангелия от Матфея допустил ошибку перевода. Он щедро цитировал Еврейскую Библию, чтобы доказать, что Иисус — тот самый мессия, о котором предрекали пророки. Но писал-то он по-гречески, а не на библейском иврите, и

споткнулся, цитируя знаменитый стих Исаии, передаваемый в Библии короля Якова так: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил».

В подлиннике стоит слово *альма*, означающее любую незамужнюю девушку, обычно — возраста половой зрелости. Матфей употребляет греческое *партенос*, чаще означавшее физическую девственность. Разница — не совсем «ошибка» Матфея. Еврейская Библия была переведена на греческий за три века до него, в Александрии. Это издание — Септуагинта, от «семидесяти» учёных, будто бы потративших жизнь на свой кус текста, — и было тем, чем он пользовался (вряд ли он знал иврит). А «ошибка», если она и была, — та самая, с которой и сегодня борются переводчики: культура тонко смещает смысл слова, и прямых эквивалентов часто нет.

Сначала довод кажется убедительным, хотя и трудно придумать более обескураживающий. Если весь вопрос девства Марьям сводится к элементарной «ошибке перевода», мы остаёмся в глупом, если не осиротелом состоянии. Разум удовлетворён, верно, но нечто в нас подозревает, что разум один может быть до крайности неразумен. И в данном случае это «нечто» право.

Удобно утверждать, что *партенос* значило «физическая дева», но так бывало не всегда. Слово употребляли и для девушки, пережившей насилие, и для незамужней матери. В этом смысле оно употреблялось примерно как «партеногенез» сегодня, когда мы говорим о простейших растениях: размножение без оплодотворения. Сталкиваясь с явной беременностью и неизвестным отцом, язык допускал, что отца могло и не быть — вопреки физическим очевидностям. Короче, *партенос* было древним эвфемизмом.

Римляне позже охотно переняли этот подход, как переняли многое в греческой культуре. Латинское *virgo* относили к любой незамужней женщине — любого возраста и даже если она беременна. Вдова могла быть столь же «девой», как и девушка.

Слово «дева» так понималось и в разные эпохи, и в разных местах. В Вавилоне младенцев незамужних называли «рождёнными девами». В Древней Греции женщина оставалась *κορη* или *parthenos* — «девицей» — до брака, когда становилась *γυνή*, «женщиной». Ни беременность, ни роды значения не имели. А в XX веке антрополог Эдмунд Лич обнаружил на Тробриановых островах у Новой Гвинеи, что вдова, завершив траур, становилась «брачной девицей». Как и две тысячи лет назад, девство было ролью, а не физическим фактом.

Лингвистический довод не держится. Хуже, сам факт его выдвижения оставляет неприятный привкус. Сводить всё к «ошибке перевода» — да ещё гипотетической — значит потерять чувство величия парадокса. А «дева-мать» — парадокс высший. Её притягательность — в знании, столь же распространённом тогда, как и теперь: беременная женщина — не физическая дева. Мы говорим о человеческой невозможности, и именно в этом — сила идеи. Она возникает на грани человеческого и божественного — там, где разум кружится от «невозможной возможности».

Клод Леви-Стросс утверждал: человеческое воображение поймано в сеть дуализмов — сырое/варёное, его самый знаменитый пример, или дева/блудница, добро/зло, любовь/ненависть, святое/мирское. Каждый миф, говорил Леви-Стросс, движим навязчивой потребностью «решить» парадокс — противоречие в терминах, которое по определению «не решается». Если бы решение было возможно, это перестало бы быть парадоксом — и потеряло бы власть над воображением.

Но для Марьям, как и для всех её времени, такой навязчивой потребности не было. Они не ожидали, что всё можно объяснить. И сохраняли куда бóльшую скромность перед неизвестным. Парадокс не «бросал вызов» разуму и науке — он был источником трепета и тайны.

Сегодня, если мы и говорим о «тайнах», то чаще — о детективах — простой, безопасной тайне, где мы заранее знаем, что будет разгадка. Но даже на этом будничном уровне таится отголосок религиозной тайны. Помимо «перелистывания», помимо побега от скуки и давления быта, каждый детектив сулит встречу с непостижимым, даже невозможным — вроде убитого в комнате, запертой изнутри. И почти разочарование — в развязке. Подробные объяснения «кто и как» должны бы быть кульминацией, но чаще ощущаются пресными. Радость читателя — в исследовании, не в объяснении.

А там, где детективы портит условие «обязательной разгадки», религиозная тайна процветает именно в своём отказе от развязки. Вот почему она живёт и держит нас. Она даёт взгляд — или хотя бы проблеск — на нечто далеко за пределами нашего понимания. Нечто по определению не только неизвестное, но и непознаваемое — и потому называемое «святым».

Как коан дзэн, парадокс нельзя «понять», но можно «постичь». Веками мистики всех вер — христианские гностики, исламские суфии, еврейские каббалисты — углублялись в парадокс, чтобы прорваться за буквальный смысл к скрытой тайне — в надежде хотя бы на миг озарения. Аллегорией, глубокой медитацией, даже экстатическим танцем они стремились «сбросить» дуалистический интеллект — или перепрыгнуть через него — и приблизиться к невыразимому. Парадокс становился не загадкой, а инструментом откровения.

Можно и так сказать: подлинное религиозное чувство не существует без парадокса. Божественное обязано быть парадоксальным, иначе теряет власть над воображением. Паскаль считал: единственная долговечная религия — та, что идёт «против природы и против доказательств». Ибо в чём величие божественного, если не в том, чтобы превосходить известное и человеческое?

Догма и формы культа — внешние признаки религий. Они не касаются внутреннего — религиозного чувства, духа: чувства святого, постижения божественного. А поскольку божественное по определению «за гранью физического» — метафизично, — приблизиться к нему можно лишь косвенно: через парадокс, метафору, аллегория. Иными словами — через поэзию.

Все великие религиозные писания были рождены не как «тексты», а как устная поэзия. И сила, и живучесть пророческих и мудрых книг Библии — в духе поэзии. Поэзия живёт загадочным. Она создаёт пространство, где воображение возносится, чувства расширяются, ум изумляется. Суть религиозного духа — поэтична; остальное — правовая часть организованной религии — прозаична.

Вот почему современный фундаментализм — трагическое искажение религии. Сводя всё к буквальному прочтению поэтических текстов, он слепнет к религиозному духу. Он становится, по сути, антирелигиозным. Святое сводится к набору правовых предписаний; трепет и тайна — к послушанию и наказанию. Лишённый чувства поэтического, фундаментализм ненавидит парадокс и отвергает тайну. Энигма — анафема. Религия сделана суровой и — почему бы не быть парадоксальным? — пресной.

Возможно, потеря метафоры была неизбежной. Чем дальше религия уходит от своих места и времени, тем больше она зависит от письменного слова. Слово становится священным в изгнании — как любовные письма, вчитываемые до последней запятой, когда влюблённых разделяет расстояние. Чем больше дистанция и длиннее разлука, тем больше смысла читается в каждом слове. И каждое слово перегружается. Оно деревенеет под тяжестью чувств, окаменеет от давления нужды и желания, теряет двусмысленную прелесть, гибкость, загадочность. Его «прикалывают булавкой» к одному, буднично буквальному смыслу.

В «Поэтике», почти за четыре века до рождения Марьям, Аристотель писал: «Поэт должен предпочитать правдоподобные невозможности неправдоподобным возможностям». Так же должен поступать и всякий, кто ищет проблеск божественного. Именно знание, что девственное рождение невозможно, делает образ столь мощным. И в самом деле: как показывает сам вопрос «А была ли она девой?», большинство католиков веры буквально в это не верят — они питают идею. Иначе у них не возник бы сам вопрос. Они знают одно рационально и верят в другое — более глубоким знанием, которое мы зовём верой: силой доверия над доказательством, воображения — над физической реальностью. Или, по Аристотелю, добровольным приостановлением неверия.

Искать доказательства, что девственное зачатие возможно или невозможно, — значит промахнуться мимо сути. Можно сказать так: те, кто настаивает, что Марьям «точно не была девой», лишены воображения; те, кто настаивает, что «точно была», — лишены чувства меры и разума. А поскольку быть человеком — значит иметь и то и другое, одно без другого обедняет нас, лишает нас части нашей человечности.

Надо признать: дева-мать выражает метафизическую истину — ту, что живёт в царстве поэзии, не физики. Печально, что это понималось куда лучше две тысячи лет назад, чем ныне.

Марьям родилась в «мире, полном богов» — так называется книга британского историка Кейта Хопкинса об убеждениях I века — в мире, полном и богинь, которых почитали сотни и, в некоторых случаях, тысячи лет. Это были девы-богини. И девы-богини были богинями плодородия.

Мало кто из них был «девственен» в современном смысле. Их половая жизнь была, мягко говоря, активной. Но их девство никогда не определялось наличием перепонки. Они являли то, что итальянский антиковед Джулия Сисса называет «загадочной девой». Они существовали в состоянии «девичества без девственной плевы».

Уберите секс из картины — каким бы шокирующим это ни оказалось для современного ума — и девство становится чем-то бесконечно более величавым и таинственным, чем присутствие мембраны.

Исида была величайшей из великих дев. Ко времени Марьям её почитали около трёх тысяч лет, и слава её вышла далеко за пределы Египта, стала столь сильна в Риме, что император Нерон велел разрушить её храмы как угрозу порядку. Не то чтобы ей были нужны храмы. По всему Ближнему Востоку и восточному Средиземноморью женщины в таких же деревнях, как Назарет, поклонялись ей небольшими, повседневными способами — как мудрейшей из мудрых женщин, понимающей их самые интимные жизни.

Но богиня, чей миф родил все прочие, была не Исида; это её мать, Нут, владычица неба. В Египте Нут изображали в поразительно чувственной позе: изогнутой над землёй, с длинными конечностями и длинным животом, усыпанным рядом ярко-жёлтых дисков по всей длине. Эти диски изображали круглый диск солнца, входящий в её уста, идущий через её тело и появляющийся между её бёдер — ибо, как богиня всякого рождения и возрождения, она каждую вечернюю зарю проглатывала солнце, а на каждый рассвет рожала его снова.

Она была верховной матерью не только солнца, но и всего творения. И, как записал один из её жрецов, она удвоила — пожалуй, утроила — «ставку» девичьего материнства, родив даже саму себя: «Это Нут, могучая мать, впервые родила что-либо; и она сделала это, когда ещё ничто не было рождено, и когда она сама никогда не была рождена».

Нут превращалась в бесчисленные другие образы богини, принимая новые имена, пока её легенда странствовала по Средней Азии и Средиземноморью. В том или ином обличье девы-богини господствовали в Вавилоне древних культур и вер, все заимствуя друг у друга, влияя друг на друга, сливаясь и расходясь в непрерывном потоке. В Шумере её знали как Деву Инанну, богиню секса и деторождения, с множеством возлюбленных, включая легендарных царей. В Вавилоне Дева Иштар — не только перворожденная богов, но и мать всех богов и всех людей — гордо настаивала на своей независимости от любого самца. «Это я одна родила народ», — провозглашала она. И только она одна возвращала своего мёртвого возлюбленного Таммуза к жизни. А в земле Ханаан Асера — также зовома «Отроковица» и «Та, Что Рождает Богов» — была ещё одним обликом, как и её дочь Анат, которая дальше бросила вызов и человеческим обычаям: она была богиней исключительно мужских сфер — войны и охоты — и одновременно исключительно женской — родов.

Легенда об Анат следует за Исидой: её возлюбленный и брат, бог бури Баал, умирает и сходит в мир Мота, бога смерти и бесплодия. В глубокой скорби она нисходит в преисподнюю в поисках его, как греческая Деметра позже — в поисках дочери Персефоны.

Найдя тело Баала, она приносит его на землю, размалывает, разбрасывает его «семя» широко — и этим воскрешает его.

Тем временем, в нынешней Турции, в легенде о Деве Кибеле — *Magna Deum Mater*, Великой Матери богов — появляется особенно жестокая деталь. Её юный человеческий возлюбленный Аттис, ведомый столь же неразумной молодостью и столь же непреодолимыми гормонами, как и ныне, изменил ей с нимфой. Гнев богини был страшен: в раскаянии Аттис оскотил себя. Умирая от потери крови, он пролил своё семя по всей земле, и, увидев это, Кибела простила его — и воскресила, как бога растительности.

Снова и снова великая дева и великая мать — одно и то же. Перечёркивая людские представления, она целомудренна и распутна, нежна и кровожадна — противоречива — как и подобает богине.

Даже утратив постепенно власть, став лишь одной из многих в греческом и римском пантеонах, великая дева сохранила парадоксальность. Артемида — богиня родов, и в то же время — охоты и, значит, смерти. Парадокс жил и в траве её имени — **artemisia** — которая по дозе могла быть и плодородным снадобьем, и средством предотвращения или прерывания беременности. Присвоенная римлянами, она стала Дианой — девой, чьё самое славное изваяние, Диана Эфесская, буквально распираемо плодородием — множество рядов грудей ниспадают по её груди, как огромная гроздь винограда, налитая соком. А позже, с восхождением христианства, великий храм Дианы в Эфесе будет, как многие храмы Исида, переосвящён Деве Марии.

Но как бы ни звали великую богиню, где бы её ни чтили, и какие бы особенности ни содержала её легенда — её девство было сущностно. Оно означало власть. Дева — сама себе хозяйка, не принадлежащая и не могущая принадлежать ни одному мужчине — ни богу, ни человеку. Она брала любовников, но её не «брали»; она никогда не выходила замуж. Вовсе не бесплодная и не «неплодоносящая», она была девой в том самом смысле, в каком мы говорим о «девственном лесу» или «девственной земле». Она кипела жизнью. Неприрученная, неприкосновенная, неудержимая — дикая, плодоносящая первооснова творения. Земля, дождь, солнце; семя, жатва, пища; мужчина, женщина, дитя — всякая форма жизни начиналась с неё.

Она — сущность плодородия, и её сила — в самой жизни. Во всех крестьянских обществах Востока её легенда была стойкой метафорой круга времён. Пока она скорбит об утрате возлюбленного/брата/ребёнка — земля лежит бесплодной; её оживление любимого оживляет землю. Мужские боги или люди дают семя, но лишь она делает его плодотворным.

Кто переживал первый дождь в засушливом Востоке, понимает, насколько властно впечатление от ежегодного возвращения плодородия. Даже в XXI веке оно вызывает почти первобытный трепет.

В Галилее первый дождь приходит ранней осенью, около Рош-ха-Шана — еврейского Нового года — буквально «головы» года. Порой он случается и в самый день — и тогда кажется, что все древние традиции волшебным образом сложились, чтобы породить новую жизнь.

Сначала улавливаешь это в воздухе. Земля выжжена и растрескана длинной летней засухой; пыль в носу, ушах и во рту так привычна, что перестаёшь замечать. Но что-то иначе, и ты поднимаешь голову к тому, что постепенно понимаешь как первый намёк на влагу после месяцев сухости. Проходит час, может два — и ты слышишь звук: словно кто-то роняет стеклянные шарики на каменные плиты у окна. Сначала не понимаешь — так давно не было дождя. Потом смотришь — и видишь: огромные тяжёлые капли падают по одной, ударяются о мёртвенно сухую землю и отскакивают, как будто каждая капля — твёрдая. Потом падает больше, ещё — и через несколько минут они колотят по земле, как табла — стремительный тяжёлый ритм Востока. Только первый дождь бывает столь громким.

Птицы просыпаются от оцепенения и вплетаются в ритм — как флейты к барабану. Гром катит по холмам — басом. Чёрные тучи движутся над землёй, обрушиваются, когда ветер поднимается. И вдруг дождь секёт долины огромными белыми занавесями; вода бежит по каменным склонам, переливается через каменные террасы, срывается по сухим руслам в внезапные потоки, будто взявшиеся ниоткуда. Переулки на склонах становятся ручьями, водопады низвергаются с крыш. Дети выбегают во двор, медленно кружатся с раскинутыми руками, с широко раскрытыми ртами и лицами, обращёнными к небу, чтобы пить дождь на лету.

Через час всё кончено. Остаётся лишь запах — влажной земли, кустов и деревьев, возвращающихся к жизни, семян, долго дремавших, но проталкивающих себя через каменистую почву. Это аромат обновления, первозданное знание в воздухе, что началась новая жизнь, новый год.

Это — древний дар Девы — мощный пульс рождающейся жизни. Её — тайна плодородия, его дикая непредсказуемость, которую мы признаём и сегодня, когда называем засухи, наводнения и прочие стихийные бедствия «деяниями Бога». Любой сельчанин Назарета сказал бы: живя на земле, нельзя принимать её как должное. Так или иначе, плодородие всегда чудесно.

Глава 6

Если бы она могла — если бы в её жизни существовали такие вещи, как время и роскошь, — Марьям сидела бы часами, сложив руки на животе, чувствуя, как в ней растёт ребёнок. Её это удивляет. Ведь она привыкла к рождению. Она вытягивала ягнят и козлят из материнской утробы — освобождала их от оболочки, вытирала кровь и ткани, массировала вымя, пока не пойдёт молоко. То же самое она делала и для женщин с их новорождёнными, бесчисленное количество раз. Но она всегда была так сосредоточена на самом рождении, что почти не думала о месяцах до него.

Она вспоминает, как беременные женщины выпрямляются, чтобы дать отдохнуть спине в поле, или замирают на пути от колодца — как они глядят вниз на вздувшийся живот, с широко раскрытыми глазами, в каком-то нежном изумлении. «Посмотрите, что я сотворила», — будто говорят их лица. И когда она ищет слово, чтобы описать этот взгляд, находит — «трепет».

Но теперь Марьям понимает: глубину этого чувства не постичь, пока оно не случится с тобой, пока ты не смотришь на собственный живот, на свою кожу, что тянется, пока это не твоё знание — внутри тебя растёт иной. Теперь она знает это бе-басара, как говорится, — на собственной плоти. Иное знание. И вместе с ним приходит огромное чувство и гордости, и смирения.

Ей не нужно было говорить Саломее. Старухе хватило одного взгляда на внучку, сидящую с руками на животе, — и она всё поняла. «Благословенно Имя», — сказала она, и ритуальные слова прозвучали по-новому свежо, когда старуха крепко обняла её. «Благословенна женщина».

И Марьям действительно чувствует себя благословенной. В ней растёт новая жизнь — маленькое чудо, что день ото дня становится больше. По мере того как живот округляется и деревня видит её беременной, ребёнка принимают ещё до того, как он родится на свет. Ритуальные, но искренние слова повторяются — её благословляют и благословляют вновь — потому что всякая беременность несёт надежду новой жизни, и всякая новая жизнь — это надежда.

Ей хочется взобраться высоко над селом, на гребень, и завывать переливчато, чтобы весь мир услышал. Она видит, как пронзительный трельчатый звук разносится по холмам, возвещая её беременность. Но она знает: так делать — к несчастью; нужна терпеливость. Сначала ребёнок должен родиться — живым и здоровым, — а потом пережить первые опасные недели. Должно пройти сорок дней, прежде чем можно будет праздновать. Но у Марьям нет сомнений. В сердце она уже празднует.

«Ты носишь мальчика», — твёрдо говорит Саломея. — «Руки на животе — это к мальчику».

Марьям удивлена: она думала, что будет девочка, и она сделает для этого ребёнка то же, что Саломея сделала для неё — приведёт на свет ещё одну в длинной череде мудрых женщин. Саломея смеётся: «Так рождаются мудрецы-мужчины. Сыновья мудрых женщин могут вынести женское знание в мужской мир и изменить его. Ты научишь его, как я учила тебя. Научи хорошо — и он научит других».

Скоро Марьям становится слишком тяжело подниматься в холмы с отарами. Саломея берёт её под свою руку: ставит работать во дворе — толочь пшеницу, бобы и травы, готовить, прясть, ткать. Когда старуха откидывается на пятки, чтобы перевести дух, ей чудится, будто она видит, как внучка меняется изо дня в день — из девочки в женщину, тяжёлую грудью и великую жизнью. Раз в неделю она мазет девичий живот девственным оливковым маслом, чтобы смягчить растущую кожу. Круговыми движениями, маленький круг в другой, спиралями вокруг живота — окольцовывает ребёнка внутри. Саломея молча

говорит с младенцем через прикосновение, уверенная, что её слова проходят сквозь плоть матери, в утробу. Она чувствует, как он шевелится под её ладонями — уже тянется к знанию в них. Марьям тоже это чувствует. И знает: когда придёт его час, он тихо и быстро выйдет в свет с десятью пальчиками на руках и десятью — на ногах, совершенный, под защитой великой богини родов.

Родня уже занялась поиском мужа для Марьям — отца, который усыновит её ребёнка и даст ему имя. А тем временем, как говорит Саломея: «Один отец был, и другой отец будет. Между ними — Бог-Отец».

Отсутствие первого отца — не повод для тревоги. Его дело сделано. Говорят, в создании жизни участвуют трое: отец, мать и Бог, которого называют «Именем», чтобы не совершать запретного — не произносить «Яхве» вслух. Отец даёт белое — семя — и из этого строятся кости и жилы, ногти, белое вещество мозга и белок глаза. Мать даёт красное — менструальную кровь и кровь рождения, — и это строит кожу и плоть, волосы и чёрное глаза. Но именно Яхве делает младенца по-настоящему живым — даёт дух и душу и пользование всеми пятью чувствами: зрение глаз, слышание ушей, запах в ноздрях, вкус во рту, осязание — кожа к коже, рука к руке, рот к груди. Это Яхве связывает всё вместе и даёт разумение и мысль. А когда приходит время человеку умирать, это Яхве забирает свою долю обратно.

«Муж лежит с женщиной, и Имя творит», — говорит Саломея с улыбкой, потому что кто знает, когда зачнётся дитя? Муж и жена могут лежать вместе годами — и ничего; другие — всего раз, и женщина беременна. Иногда Яхве делает свою часть, иногда нет — и не понять, почему в один раз да, а в другой — нет.

Говорят и так: женщина зачинает, когда ангел Гавриил мнёт землю в маленький шарик и сажает его в неё, когда муж ночью входит к ней; а если земля бесплодна, так суха, что она лишь прах, — тогда нет того, во что Яхве мог бы вдохнуть дух. Саломея только улыбается. Пусть верят, во что хотят; одно объяснение не хуже другого. Она знает, что крестьянская жизнь тяжела для женского тела и что недоедание и болезни так же верно противодействуют плодородию, как прихоти божественного. Её травы могут помочь сделать тело женщины более готовым к зачатию, но даже мудрейшая повитуха должна признавать, как много остаётся неизвестным. Ибо что такое мудрость без смирения? Уже не мудрость, а заблуждение — запираение ума от неизвестного.

Отец, несомненно, будет. Столько женщин умирают при родах, что всегда есть вдовцы, нуждающиеся в молодых, крепких девушках в жёны — будь то в самом Назарете или в деревне покрупнее, вроде галилейского Вифлеема к западу. Так и устраивают браки: жена — едва за подростковым возрастом, с долгими годами деторождения впереди; муж — старше, вдвое её, способный завести собственное хозяйство в хамуле, родовом клане. Это хорошее устройство для детей и плохое — для женщин, что переживают роды и живут, чтобы стать вдовами, — их мужья и дети умирают задолго до них, как у Саломеи.

Всё устроят, как устраивают браки. Родичи с обеих сторон встретятся, выпьют вина, разбавленного водой, поговорят ласково, пока не придут к согласию. Конечно, найденный

отец не будет тем, кто лежал с Марьям, когда она зачала. Её ребёнок ничего не унаследует, даже если он мальчик и даже если первенец. Это понимают. Не будет тюфяк для сна, тростниковый навес, пища, другие дети, которых звать братом и сестрой. Так о Марьям позаботятся — потому что она не только дочь Израиля и дочь Яхве, но и дочь Назарета, а сельчане заботятся о своих. И как всякий ребёнок, рождённый здесь, её сын будет бар-Нацрат — сын Назарета. И бар-энаш — сын человеческий, человек. И бар-элоһин — сын божий, как все они — дети бога.

Марьям беременна — это мы знаем. Но как именно она забеременела — иной рассказ, точнее, несколько возможных рассказов. «Биографию можно счесть полной, если в ней объяснены шесть-семь “я”, тогда как у человека их может быть и тысяча», — написала как-то Вирджиния Вулф. Она, конечно, преувеличивала, но мысль ясна: свести любого к одной, аккуратно объяснимой упаковке — значит создать вымысел. Мы слишком сложны для этого — и именно эта сложность, необъяснимые противоречия нашей жизни, делают нас интересными. И людьми.

То же — и с событиями. В чём-то образцовым для «множественной точки зрения» великий японский режиссёр Акира Кurosава удовлетворился «всего лишь» четырьмя противоречащими версиями в своём классическом «Расёмоне», который можно считать биографией события. Первая фраза фильма, повторённая трижды: «Я не понимаю». Под огромными воротами Расёмон, в ливень, люди, укывшиеся от стихии, слушают четыре радикально отличающиеся версии изнасилования и убийства: признание разбойника, свидетельство изнасилованной женщины, рассказ убитого (через медиума) и рассказ лесоруба, случайно ставшего свидетелем. Каждая новая версия абсолютно убедительна. Кажется, что только она и может быть правдой. И каждая поднимает растущие сомнения в достоверности человеческих показаний. Что истинно, а что мы лишь убеждаем себя, будто истинно, — или выдаём за истину, потому что так нам хочется, чтобы было?

Следователи знают, как ненадёжна память — будь то из-за рвения «выдать факты», из-за неверных впечатлений, из-за тщеславия или выгоды. В этом, намекает Кurosава, человеческая природа. Это и делает наши истории такими сложными, притягательными — и по сути ненадёжными. И если это кажется мрачным взглядом на человечество, в финале он даёт искупление: стихия стихает, и укывшиеся слышат крик подкинутого младенца. Лесоруб решает усыновить его — «ещё один рот прокормим», — и уходит в бледное послеливневое солнце, неся дитя на руках.

Именно неоднозначность «Расёмона» делает его столь мощным. Он резонирует так же, как и классические мифы. «Едва вы ухватите его, как миф раскрывается веером на тысячу створок», — говорит филолог Роберто Калассо. — «Всё, что происходит, происходит так, или этак, или вот так. И в каждой из этих расходящихся историй отражаются все другие, все скользят мимо нас, как складки одной и той же ткани».

А если до нас дошла лишь одна версия мифического события? Тогда, говорит Калассо, «это — тело без тени; нам остаётся мысленно вычертить эту невидимую тень».

За века зачатие Иисуса у Марьям сделали таким «одновариантным» событием. Его часто называют тайной, но на деле оно — её противоположность, ибо утверждать единственную «так и никак иначе» версию — значит отрицать тайну вообще — не только Марьям, но и тайну любой жизни, те неизмеримости, что делают нас людьми.

Тайна — не в том, что мы знаем, и даже не в том, во что верим, а в том, о чём можем сказать: «Интересно, а что если...». Тайна — это чудо, буквально, в смысле «я дивлюсь...». Если удержать ум открытым, отвергнув уют убеждённости и променяв определённости на возможность, — тогда, быть может, мы приблизимся к тому, что можно назвать истиной.

Истина — всегда становящаяся идея, писал Уильям Джеймс в эссе о прагматизме. Она всегда временная и всегда построена из собственного опыта. ««Абсолютно» истинное — то, чего никакой последующий опыт не изменит, — это тот идеальный исчезающий пункт, к которому, как мы воображаем, сойдутся некогда все наши временные истины. Он бежит рядом с образом совершенно мудрого человека и с абсолютно полным опытом. А пока мы должны жить той истиной, какую имеем сегодня, и быть готовы завтра назвать её ложью».

И всё же есть иной способ подойти к вопросу о зачатии Иисуса — куда ближе к миру Марьям. Как у Калассо в греческих мифах, истин может быть несколько, и каждая одинаково верна на своём уровне реальности — и каждая, возможно, указывает к более высокой, совершенной, невозможной истине, о которой писал Джеймс. Настоящим верующим и настоящим скептикам такой подход придётся нелегко. Но, чтобы снова процитировать Джеймса, «постольку, поскольку человек стоит хоть за что-то и творит хоть что-то, вся его жизненная функция имеет дело с “может быть”». Ни одна победа не одерживается, ни один поступок верности или мужества не совершается иначе, как на «может быть».

Кто был отцом ребёнка Марьям? Самое большое «может быть» — и самая распространённая теория, и — на первый взгляд — самая невозможная: что отец был Бог.

В это, казалось бы, можно верить только верой — далеко за пределами исторического исследования. Но необходимость держать ум открытым работает в обе стороны — не только для верующих к доводам разума, но и для рациональных — к доводам веры. Если читатель не настолько предан атеизму, что тот сам стал для него религиозной догмой, — в идее божественного отцовства может быть больше, чем мы думаем.

Зачатие, несмотря на всю нашу науку, всё ещё хранит долю божественной тайны. Телепрограммы о природе говорят о «чуде рождения», и даже в век генетики всякая женщина при первой беременности чувствует то же нежное изумление, что чувствовала Марьям, глядя на свой живот. Когда младенец толкается в утробе, будущий отец застенчиво улыбается, будто не вполне верит, что это сделал он. Слово тому чувству — всё то же: трепет. В этот самый физический миг они касаются метафизики.

«Благословенно Имя», — сказала Саломея — это и сейчас ритуальная фраза на иврите: барух ха-шем — «да будет благословен Бог». У религиозных и особенно сефардских евреев это почти словесный тик — как «будь здоров» на чих. На арабском — так же, чтобы

показать, что всё в порядке, или выразить облегчение и радость от доброй вести. «Да будет благословен Аллах, она беременна», — говорят и ныне в палестинских арабских деревнях, вторя евангельскому: «Благословенна ты между жёнами».

И ныне, как две тысячи лет назад, Божественное населяют и язык, и мысль на Ближнем Востоке. На иврите бе-эзрат на-шем — «с Божьей помощью» — приставляют к любой надежде — большой или маленькой, как и арабское иншаллах — «на то воля Аллаха». Это жесты смирения, признания пределов человеческого замысла.

Но Божья помощь — одно; Божья сперма — другое. Половой акт между человеческим и божественным, приводящий к рождению и человека, и бога? Воспринимать это буквально — почти непристойность. Вопрос в том: а кто воспринимает буквально?

Антрополог Эдмунд Лич задался именно этим, обсуждая веру в девственное зачатие у тробрианцев. Ранние антропологи объясняли её простым незнанием физиологии. Лич отвечал остро: «Мне кажется интересным не столько невежество туземцев, сколько наивность антропологов». Единственный способ воспринимать такие истории в лоб — если они подпитывают «его собственную фантазию о врождённом неведении “детских дикарей”».

На деле, будучи спрошенными, островитяне свободно признавали роль полового сношения. Женщины — менее вовлечённые в религиозные ритуалы — говорили, что зачатие — результат секса с мужчиной; мужчины — что и секс, и вмешательство божества. «Ребёнок, по их убеждению, принадлежит к той же законной линии, что и святой дух, магически входящий в тело матери неприродным путём в момент зачатия», — писал Лич, — «тогда как человеческая субстанция и облик ребёнка — от мужа матери».

Учения о зачатии без мужского семени происходят не от невинности и невежества, замечал Лич. «Напротив, они согласуются с богословскими рассуждениями высшей тонкости. Если поставить так называемые примитивные верования рядом с утончёнными и отнестись ко всем с равным философским уважением, мы увидим: это вариации на общую структурную тему — метафизическую топографию отношений между богами и людьми».

Как в XX-вековых Тробрианах, так и в Палестине I века. Марьям жила в месте и времени, где метафизический элемент в человеческом зачатии признавался публично. Всякое рождение было дановением свыше, и всякий ребёнок был, таким образом, сыном или дочерью Бога.

Идея Бога-Отца была столь глубоко прошита в культуру, что вплетена в имена Еврейской Библии: Йоав («Йо/Яхве — мой отец»), Элиав («мой Бог — мой отец»), Авиэль («мой отец — Бог»), Аврам («возвышенный отец»), Авраам («милостивый отец»), Авирám («мой отец возвышен»).

Отцовская метафора продолжается в известных молитвах, как, например, кадиш — молитве об умерших: «Да будут приняты молитвы и прошения всего Израиля перед Отцом их, что на небесах». Молитва «Отче наш», начинающаяся «Отче наш, сущий на небесах», — крепко

в еврейской традиции, как и сам Иисус, который неизменно говорит о Боге не как о своём личном отце, а как об Отце всех: «Отец ваш», «Отец наш».

Никто, кто слышал Иисуса, не был настолько наивен, чтобы вообразить, что все зачаты божественным осеменением. Отцовство понималось как дело принадлежности. И оно бывало разным — не только биологией. В Риме, например, усыновление было столь же принятым способом обрести наследника, как и рождение. Добровольная связь «отец — сын» могла быть крепче биологической — потому что выбранная отцом. В крестьянских культурах Средиземноморья патриарх большого семейства считался отцом всех в нём.

И на иврите, и на арамейском «сын» регулярно значило «гражданин/член» — как и ныне в столь разных организациях, как Бней-брит («сыны Завета») и Daughters of the American Revolution («Дочери Американской революции»). Так же, когда пророк Малахия назвал язычницу «дочерью чужого бога», он имел в виду, что она из народа, поклоняющегося иному божеству. А когда ессеи говорили об апокалиптической битве «сынов света» с «сынами тьмы», речь шла не о фантастике, а о войне просвещённых с помрачёнными.

Это было ясно всякому на Ближнем Востоке, где семейные термины — не только отец, но и мать, брат, сестра, кузен — и тогда, и сейчас обозначают теснейшие узы помимо кровных — узы не менее крепкие. Это было ясно и в эллинистическом мире, где двойное отцовство — божественное и человеческое — давно входило в легенду о великих людях и героях.

Пожалуй, самая известная божественная отцовская линия в греческом мифе — Елена Троянская, будто бы зачата, когда Леду изнасиловал Зевс в облике лебедя. На этом основано стихотворение Йейтса «Леда и лебедь», известное прежде всего вуайеризмом:

Внезапный удар; великие крылья всё бьют
Над девой, что пошатнулась; тёмные перепонки

Ласкают бёдра; клюв вцепился в затылок,
Её груди — к его груди, безвольной — прижаты.

И это только начало. Йейтс пишет и об «ослабевающих бёдрах», и о «дрожи в чреслах», прежде чем лебедь отпускает её. Это настолько явный акт между человеческим и божественным, насколько возможно — более явный даже, чем знаменитые экстазы Терезы Авильской. Но едва ли Гомер или кто-либо из греков подразумевали столь сладострастную картину, потому что полная версия мифа ясно говорит: Леда в ту же ночь была и с мужем. Елена Троянская — плод двойного отцовства: плоть — от мужа, дух — от Зевса.

Почти всегда, когда боги зачинают легендарных людей, они действуют вместе с мужчинами, а не вместо них. Тесей — сын Посейдона, но был зачат, когда и Посейдон, и смертный возлюбленный лежали с его матерью в одну ночь. Асклепий — сын Аполлона, но зачат, когда мать лежала сразу и с мужем, и с богом. Многие дети Зевса были зачаты, когда он принимал самый простой и обманчивый облик — человека. Геракл родился после того, как Зевс лежал с его матерью в образе её мужа, Дионис — когда Зевс, приняв вид мужчины, изнасиловал деву Семелу.

Чудесное зачатие приписывали и реальным людям — если они были достаточно знамениты. Александра Македонского якобы зачал Зевс в образе змеи, соединившись с Олимпиадой. Император Август — от того, что мать уснула в храме Аполлона и была оплодотворена богом. Пифагор и Платон — тоже «сыновья Аполлона». И, как с «дочерьми чужих богов», «легенда о великом человеке» распространялась и на великих женщин. В египетском храме Дейр эль-Бахри в Карнаке рельеф в честь царицы Хатшепсут показывает её мать на ложе рядом с богом Амоном, восклицаящим: «Хатшепсут — имя этой моей дочери, которую я поместил в твоё чрево».

Божественное отцовство было, в каком-то смысле, актом концептуального искусства: творением ума, а не тела. Так волшебники и провидцы могли правдоподобно объявлять: «Я — сын Бога Живого» — формула, часто встречающаяся в греческих магических папирусах. Как отмечал историк Мортон Смит, это не следует понимать буквально: это способ призвать божественную силу, сказать: «В этот миг я вдохновлён, я действую и говорю от имени бога».

Но было одно важное различие между понятием двойного отцовства в средневосточных культурах и в эллинистической. Распространяясь на север и запад — в Афины, в Рим — оно теряло демократичность. В израильской культуре, как в Тробрианах, все были детьми Бога; в эллинистической — лишь великие, сильные, знатные. Потому ранние христиане вне Палестины легко принимали мысль, что Иисус — и сын Иосифа, и сын Бога. Они жили в традиции «божественно рождённых великих», они этого ждали: подтверждение величия, рационализацию веры.

Кто был биологическим отцом — вопрос не стоял. Никто не представлял, как Йейтс, буквальный секс между божеством и человеком. Как мы и ныне употребляем «дух» и «призрак» почти взаимозаменяемо, так «сошествие Духа Святого» на Мэриам у Луки — это дух Бога, а не овеществлённый Бог. Союз духа, а не плоти.

Услышь Марьям этот рассказ — она поняла бы его так. Но она его не слышала: евангелие записали десятилетия спустя после её смерти. Да ей и не надо было слышать. Она и так знала.

Ни одна повитуха и целительница не способна работать, не понимая биологию размножения. И — если она хороша в деле — не может игнорировать тайну. Марьям знала: не объяснить, почему зачатие происходит в один раз, а в другой — нет; почему одни роды лёгкие, а другие — тяжёлые. И она знала о тайне более высокой: о чувстве трепета и чудесности, что она переживала заново каждый раз, когда дитя выходило в дневной свет со всеми десятью пальчиками на руках и десятью — на ногах; о приливе радости каждый раз, когда слышала первый вдох — как воздух наполняет новорождённые лёгкие — и затем, на выдохе, первый громкий крик жизни.

При всём своём мастерстве — а вернее, благодаря ему — она остро чувствовала тайну, что заложена в каждом зачатии и каждом рождении; влияние чего-то большего, чем грубые, торопливые брачные соития в ночной тьме. Был ли дух там буквально? Хлестали ли крылья

лебедя, орла или голубя в бешеном такте? Конечно, нет. Дух был в идее — в признании, что всякий акт зачатия — это и человеческая сексуальность, и то, что можно назвать случаем, судьбой; хотя, как всегда, Марьям предпочитала думать о нём как о вмешательстве божественного. Зачатие, рождение, выживание — всё происходило бе-эзрат ha-шем, с Божьей помощью.

Бог был отцом, как Бог всегда — отец. Но единственным отцом? Марьям рассмеялась бы такой мысли, прикрыв смех рукавом — чтобы не обидеть, — но не сумела бы скрыть его в глазах. Нет, был и человеческий отец — и всякий, кто ищет его через две тысячи лет, должен начать с того, кого нам дают евангелия: Иосиф.

Иосиф — утешительное присутствие в нашем воображении. Он рядом с Марьям, когда она нуждается — кто-то, кто заботится о ней, как добрый пастух. Отец ей, кажется, больше, чем Иисусу.

В классически патриархальном ключе его всегда изображают бородатым. Верно, все, кроме самых эллинизированных, носили бороды в Палестине того времени. Быть гладко выбритым — эллинская манера, знак городской знати. Но бороды утешают: они смягчают лицо, делают его добрей и мудрее. Или мы пристрастны из-за того, что Бога всегда персонифицируют бородатым — как и Иисуса; что ортодоксальные раввины и имамы — тоже бородаты; и не этими щегольскими эспаньолками и «трёхдневной щетиной», а пышными гривами, делающими юношу старше и опытнее, а старика — почтенным и премудрым.

Но прежде всего борода скрывает лицо. Труднее понять, кто перед тобой, труднее считывать привычные сигналы — изгиб губ, выступ подбородка, линию челюсти. Борода дарит тайну. Мужской эквивалент вуали.

Иосиф — завуалированное присутствие в евангелиях. Он даже не говорит. Появляется едва-едва, хотя его первое появление у Матфея знаменательно: Благовещение — ему, а не Марии. Но всё, что мы слышим о нём в детстве Иисуса — это как один из «родителей» ищет его в храме во двенадцать. А затем — ничего. Он тает на заднем плане, и, сами того не заметив, мы теряем его. Он почти архетип отсутствующего отца.

И всё же, почти ничего о нём не зная, мы его любим. Он — тот, кого мы желаем Марьям. Он — успокаивающая крепость заботливого мужа, который не судит, но — с лёгким толчком ангела-вестника — принимает её такой, какая она есть: беременной.

Да, определённо — отеческая фигура. Идеальная человеческая подмена Божественного Отца. Казалось бы, ему бы больше признательности, но даже в монастырской школе, названной его именем, он производил слабое впечатление. Мария была ярким, цветистым присутствием в коридорах — вспышки ослепительной синевы на каждом повороте, — а статуй Иосифа — всего пара, и они были тусклы по сравнению с ней. Он в монашеско-коричневом — противоположность своему библейскому тёзке в многоцветном хитоне.

В сборнике гимнов был лишь один, посвящённый ему, среди десятков, что мы пели утром: «Хвала тебе, святой Иосиф, хвала, / супруг Марии, хвала; / чист, как лилия, в Эдеме — в тиши; / хвала тебе, святой Иосиф, хвала! / Отцом Христу почтён, / будь отцом и нам — тем, кого искупил твой приёмный Сын». Автор явно путался в роли Иосифа, остановившись на «приёмном отце». Это странное выражение заставляет думать, будто Иосиф и с матерью сына не знаком — чужак, нанятый растить ребёнка. Но оно даёт ещё один уровень отстранения, заранее отводя возможность коснуться запретной темы — секса. В монастыре Иосиф должен быть столь же десексуализирован, как и Мария.

Кто он? Плотник — все знают. Только вот плотнику в Назарете делать было бы почти нечего. На Западе ещё строят дома целиком из дерева, но не в Средиземноморье — и уж точно не в Палестине двухтысячелетней давности. Крестьянские дома всегда строят из того, что под рукой, и, как знает всякий, кто читает/смотрит новости с Ближнего Востока, под рукой в Палестине — ныне, как и тогда — камень. Камни — единственное, кроме терний, чего там в достатке. Как ни чисти землю, как ни укладывай камни в террасы, стены и дома, — следующий зимний холод выжмёт новые на поверхность. Поле, которое, казалось, очистил, — на следующий год опять каменистое.

Деревья, конечно, были, но не столько и не такие, чтобы прокормить плотника, и спроса не было. У немногих были столы и стулья. Кровать — тростниковая подстилка на земляном полу; сосуды — глиняные, лари — каменные. И дома семьи строили себе сами — как и сейчас в деревнях Западного берега.

Может, он делал плуги? Те — деревянные, верно, но и их каждая семья делала сама. Как и в большинстве сельских сообществ сегодня, крестьяне были многоумельцы: иначе не выживешь. Только покинув деревню — будучи согнанным с земли и нанявшись в городе — становишься определён не родом и семьёй, а ремеслом.

Весь образ Иосифа-плотника опирается на мимолётную ремарку у Матфея, где назаретяне называют Иисуса «сыном плотника». Арамейское нагар значило «ремесленник» — от каменщика до кузнеца; греческое тектон — «строитель», как в архитектор — «главный строитель». Все эти профессии были бы нужны не в маленьком галилейском селе, а в городе с большими стройками — Иерусалиме, Антиохии, Афинах. То есть в городах, где жили авторы евангелий.

Мы не знаем имён людей, писавших евангелия: как и большинство таких сочинений той поры, это псевдоэпиграфы — под именем известной фигуры недавнего или далёкого прошлого, как апокрифы «Премудрость Соломона» или «Книга Еноха». Но мы знаем, что их авторы — часть эллинского мира Антиохии, Эфеса, Афин — как и их аудитория. Они писали по-гречески для грекоязычных — потому Матфей мог «создать» «главного строителя» в маленькой ближневосточной деревне, где и зданий-то с арками не стояло. Его Иосиф — по сути горожанин, авторской волей пересаженный в галилейское село. И, так сказать, оставленный там.

Главная функция Иосифа — и у Луки, и у Матфея — будто бы «обеспечить» Иисусу не только статус «сына плотника», но и происхождение от царя Давида — чтобы рождение

сошлось с библейскими пророчествами. И всё же ангельское благовещение у Матфея гарантирует: Иосиф будет мужем по имени, но не по биологическому факту — по сути, он спутник Марии, не настоящий муж. Страннее того: у Марка, ныне признанного самым ранним, Иосиф даже не подразумевается, не то чтобы назван. Вместо этого Иисус — «сын Марии». Фраза, которая нам сегодня кажется естественной, но в Палестине I века, где дети носили имена по мужской линии, она была бы весьма неестественной.

Есть ещё то, как Иисус называет себя: не «сын Иосифа» и не «сын Марии», и даже не «сын Божий», а «сын человеческий». Прямой перевод арамейского бар-энаш, что могло означать просто «человек», «кто-то», «сын всех людей и ничьей-то конкретно» — или, как в современном иврите бен-адам («сын Адама», «сын земли»), — хороший человек, «менш». Единственное, что ясно — речь не об Иосифе: Иисус ни разу его не упоминает, не говоря уже о прямом обращении.

Иосиф начинает подозрительно походить на фикцию. Не удивительна, пожалуй, самая любопытная попытка объяснить его почти полное отсутствие в Новом Завете — художественная. В «Евангелии по Иисусу Христу» нобелевского лауреата Жозе Сарاماгу Мария — обычная жена Иосифа, Иисус — обычный сын. Мальчику двенадцать, когда друг Иосифа едет из Назарета в Сепфорис продавать мула и попадает в бунт. Опасаясь за друга, Иосиф набирается храбрости и идёт в Сепфорис сам. Страхи оправдываются: друг мёртв. Хуже того — власти хватают всех, кто на улице. Иосифа арестовывают, и вскоре, без суда и просьбы о помиловании, распинают вместе со сотнями — классическим римским способом коллективного наказания. Это становится не просто предзнаменованием того, что случится с сыном, но и движущей причиной: где отец распят «по случайности» — не в то время, не в том месте, — сын изберёт распятие сам, придав смысл смерти отца.

И всё же — даже у Сарاماгу — Иосиф остаётся теневой фигурой. Механизм сюжета, не человек. Не пора ли спросить, был ли он вообще? Не был ли этот добрый бородатый муж метафорической «бородой» — прикрытием, придуманным, чтобы отвлечь внимание от кого-то, кому по какой-то причине нужно оставаться тайной? Не заслоняет ли его присутствие чьё-то другое — или чьё-то отсутствие?

Глава 7

Следующего нет. Будто её внезапно перенесли в иной мир, в иное состояние бытия, не имеющее отношения к её прежней жизни.

Это ощущается как удар, сильный удар в основание шеи. А затем приходит чувство падения — её крутит, вертит, и кажется, так будет вечно: падать вглубь ночи бытия, в тёмную ночь души. Она понимает, что с ней происходит, но всё случается так быстро, что ни возразить, ни тем более сопротивляться она не успевает.

Хуже всего — тяжесть. Она наваливается, прижимает к земле, душит, как огромная тёмная туча, пока она не может ни говорить, ни крикнуть, будто лишилась голоса. Гигантская ладонь словно закрывает её лицо — глаза, нос, рот. Ей не хватает воздуха. Нет зрения, нет

голоса, нет дыхания так долго, что она уверена: больше никогда не увидит, не заговорит, не вдохнёт.

И потом, так же внезапно, как началось, всё заканчивается. Тяжесть отступает. Свет заливает глаза — такой яркий, что их приходится закрыть. Если где-то и слышны торопливые шаги, удаляющиеся по склону, она их не различает — она слишком занята дыханием. Лёгкие с болью, судорожно, вдыхают воздух, она глотает его большими, болезненными глотками.

Постепенно сердце перестаёт так гулко биться в груди, и мир собирается по кусочкам. Шорох ветра в дубовом кустарнике. Острые края мелкой гальки между лопатками. Жужжание мухи. Она лежит тихо, думая: если слышит эти знакомые вещи, значит, всё будет хорошо.

Рядом что-то шуршит. Глухое блеяние, шёпот. Мокрый пяточок тычется ей в плечо. Шершавый язык облизывает лицо. Она открывает глаза — и видит влажные глаза ягнёнка, глядящие ей прямо в свои, будто возвращая её обратно, в этот мир.

Она садится, оглядывается. Никого. Если бы не боль в голове и между бёдер, можно было бы решить, что всё привиделось. Всего лишь миг, в конце концов. Длинный, тёмный миг в ослепительно солнечный день. И всё же она знает: этот один миг необратимо изменил всё. Ничто в её жизни уже не будет прежним. Ничто в мире. В её глубине пустило корень семя чего-то совершенно нового — и теперь это её, только её — хранить, растить и однажды выпустить в свет.

Нам не хочется думать, что произошло так. Если Иосиф не был отцом, то уж лучше дать волю романтическому воображению — представить невинность юной любви, почти «Ромео и Джульетту»: парня из враждующей семьи, а то и из гарнизонного Сепфориса — всего в нескольких милях, но словно на вражеской территории. Голливудская фантазия мигом рисует двоих подростков под оливами, под звёздами, при полной луне...

Но романтики почти наверняка не было. Само понятие не существовало — появится лишь в Средние века. Женились не по любви, а по расчёту и наследству. И у высокородных римлян, и у бедных палестинских крестьян браки устраивали другие, и они становились договором между мужем и женой. Если везло, приходила любовь — но любовь привязанности и уважения, не роман. Такой роскоши и представить было нельзя.

Значит, нам приходится допустить куда более вероятное — полную противоположность романтической грёзе и куда труднее укладывающуюся в современную голову мысль: Марьям забеременела в результате изнасилования.

Первая реакция на саму идею — ужас. Разум бунтует. Даже думать в таких терминах кажется оскорблением. Но с учётом места и времени мы обязаны признать такую

возможность, как бы ни неохотно. И, присмотревшись, поймём: это отнюдь не оскорбительно.

Сам рассказ о Благовещении можно воспринимать как поднимающий эту тему. «Дух Святой найдёт на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя», — говорит ангел Гавриил. Образ «осенения» уже сам по себе тревожен. А в эллинистическом контексте призрачное присутствие, нависающее, как туча, немедля вызвало бы образы Зевса, низвергающегося на смертных дев в виде ветра или дождя, лебедя или орла. Или, в данном случае, голубя.

Потому что, называя греческие мифы «классикой», мы сглаживаем простой факт: то, что делал Зевс, — изнасилование. Девы-люди были лишь объектами его вожделения — без собственной воли, без права голоса, без возможности отразить нападение. Их терроризировал бог — и всё же их за это чествовали, а не позорили. А их дети, рождённые от насилия, становились полубожественными героями.

Многие библеисты рассматривают ответ Марии как радикальное утверждение: «Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему». Без её согласия, говорят они, не было бы ни Иисуса, ни христианства, ни последующих столетий западной культуры. Они слышат в её словах царственное «да будет так». Но это — толкование. С тем же успехом их можно услышать как подавленное «как скажете».

Вот почему католические феминистки, вроде Мэри Дейли, видят в традиционном образе Марии модель «правильной» жертвы изнасилования: кроткой и смиренной, соглашающейся с неизбежным. У неё нет собственной воли, нет активной роли: с ней «сделают», а не она «сделает». У неё нет даже собственного голоса — ведь «Величит душа моя Господа» (Magnificat) — прямая переработка гимна Анны из первой книги Самуила, местами почти слово в слово.

Так — в мире евангелий, книг, что буквально означают «благая весть». А в реальном мире? В Палестине Марьям — мире насилия I века — изнасилование было столь распространено, что начало подрывать саму систему отцовской линии и наследования. Когда спустя два века раввины Мишны перевели еврейство с отцовской линии на материнскую, они, вероятно, просто трезво учли реальность: в сомнении насчёт отца хотя бы мать известна наверняка.

Ранние антикристианские памфлеты упорно распространяли слухи, будто Марьям была изнасилована. Чаще всего «насильник» — римский солдат по имени Панфера — хищное имя, как и следует. В действительности это было не только довольно обычное греческое имя, но и имя римского легиона. Этот легион действительно шёл из Сирии в Палестину в 4 г. до н. э. и в 6 г. н. э. — как раз к вероятным датам рождения Марьям. А куда шли легионы, там и насиловали.

За XVII веков до Просвещения и за девятнадцать — до первой Женевской конвенции война была откровенным грабежом. Насилие и грабёж были столь же стандартны, как рукопашная. Брали всё, что можно — жизнь, еду, добычу, секс. Солдаты не столько сражались, сколько бесчинствовали, устанавливая террор с целью полного подчинения мирного населения. И, увы, изнасилование как оружие войны не исчезло — достаточно

вспомнить бывшую Югославию, где его применяли не только как садистскую демонстрацию власти, но и как средство коллективного наказания и устрашения.

Разум бунтует, да. Большинство из нас готовы принять, что Марьям не была физической девственницей. Но изнасилованной? «Кем угодно, только не ею», — говорим мы себе. Одна мысль об этом вынуждает отказаться от созданной веками десекуализированной фигуры и увидеть в ней реальную женщину. Слишком реальную. Это пробивает идеализированный образ до жутко осязаемой реальности — и как бы готовы мы ни были, некая древняя набожность пытается удержать нас.

Но видеть в Марьям изнасилованную — не значит унижить её; наоборот, это заставляет нас пересмотреть собственное отношение к изнасилованию. Если это оскорбляет и разрушает наш традиционный образ — именно в этом суть изнасилования: глубочайшее психологическое и физическое нарушение — не только тела женщины, но и самой ткани её существования в мире. Чувство безопасности — исчезает. Чувство, что её тело принадлежит ей — исчезает. Чувство себя как кого-то большего, чем потенциальный объект чужой агрессии — исчезает.

Книга Сьюзен Браунмиллер «По нашей воле» показала изнасилование тем, чем оно является: не актом желания, а актом насилия. Сам факт, что нас так глубоко задевает мысль о Марьям, говорит, как мало изменились наши установки со времени выхода книги в 1975 году. Какая-то часть нас всё ещё воспринимает изнасилование как «грязный» вид сексуальности со стороны женщины: будто оно её «пачкает», «обесчещивает», «унижает».

Может, потому нам мысль о насилии кажется куда оскорбительнее для Марьям, чем для современной западной женщины, пришедшей в кризисный центр, или даже для политзаключённой, пытаемой изнасилованием. Последнее, как мы хотим думать о ней, — «опозоренной, униженной». И не должны так думать. Потому что именно через это чувство оскорбления мы, возможно, наконец выскользнем из нравственного оцепенения вокруг темы изнасилований.

Как нет ни единой причины подыгрывать насильникам, считая любую изнасилованную женщину «испачканной» и «униженной», так и с Марьям. Настоящее оскорбление — думать о ней так: это оскорбление не только её, но и миллионов женщин по всему миру, которых изнасиловали, насилуют и будут насиловать.

На самом деле образ «Марьям, пережившей изнасилование» может оказаться куда более мощным символом, чем традиционный образ «неприкосновенной», потому что очевидно: если её и правда изнасиловали, она отказалась стать жертвой. Она отказалась стыдиться. Оказавшись беременной, она могла прекратить беременность — как целительница, знала как, — но решила доносить, родить и вырастить ребёнка как своего: «сына Марии».

Она подарила бы ему имя Йешуа — Иисус по-гречески, значит «Иисус» по-английски. На иврите в имени — сокращённая форма Яхве, «Ях», и оно значит «Ях спасает». Необычайно точное имя для ребёнка изнасилованной. Во Второзаконии, если мужчина насилует обручённую девушку в поле, виновен он, а она — нет, «потому что, хотя она кричала, эн

мошья ла — “некому было её спасти”». Что за дерзновенный жест — отвергнуть модель жертвы и назвать ребёнка Спасением. Превратить задуманное как позор — в достоинство, насилие — в нежность. Родить благодать из бесчестья.

В этом — сущность христианства, каким его проповедовал Иисус. Преображение противоположностей — основа не только Нагорной проповеди — «позор в честь, насилие в нежность, бесчестье — в благодать, недоверие — в доверие», — но и большей части его учения. Нищие будут богаты духом, богатых проклянет их богатство. Грешники благословятся, презиаемые будут в чести. Плачущие будут смеяться, а смеющиеся ныне — заплачут. Это новый мир, где всё, что казалось неизменным в крестьянской жизни под оккупацией — голод, бессилие, стыд, страдание, — преобразится.

Конечно, сказать наверняка, было ли изнасилование, невозможно. Сами слухи были предсказуемы — и потому, что насилие было обычным, и потому, что к концу II века возвышение Марьям в Деву Марию уже шло полным ходом. По мере того как образ «святой девы» и настаивание на физической девственности становились центральными для зарождающегося христианства, противники хватались за удобную возможность опорочить. И эти приёмы всё ещё до боли знакомы: сексуальные слухи окружают известных женщин — особенно политиков — даже в XXI веке. Противники прибегают к древней тактике — попытаться опозорить женскую сексуальность, прикрывая настоящую цель: атаковать дерзость её притязаний на власть и попытки её осуществлять.

Но одно можно сказать твёрдо: сама идея насилия не унижает ни Марьям, ни её сына. Напротив, она сделала бы её куда более сильным примером для подражания, чем ватиканский образ. Марьям, пережившая насилие, — не «менее достойная»; она — более. Женщина, которая не просто пережила беду, но преобразила её в добро. Которая отказалась принять образ жертвы. Которая превратила акт намеренного бесчестья — в высшую благодать.

Насиловать умеют не только безымянные солдаты. Солдат — будь то иродианец из Сепфориса или наёмник из сирийского легиона — слишком удобен, идеальный персонаж для ранней антикристианской пропаганды. Это не значит, что насильника не было вовсе. Им мог быть и любой другой на тропах к Назарету: торговец, пастушок из соседней деревни, даже кто-то свой. Последнее, по правде, вероятнее. Подкрасться к пастушке на открытом склоне нелегко; знакомый человек подойдёт без труда. И, как мы знаем, несмотря на ужасающие заголовки о нападениях незнакомцев и на систематическое использование изнасилований в войне, подавляющее большинство изнасилований — не случайная охота. Насильники обычно знают своих жертв. Иногда пользуются доверием и властью. Даже священной.

История, как Марьям росла среди священников, встречается в нескольких апокрифических «евангелиях детства». Они были невероятно популярны с III века — и неспроста: ранний аналог лавочной «любовной беллетристики», густо приправленной «набожными» подробностями. Первоисточник — «Книга Иакова», конец II века, известная под более

внушительным названием «Протоевангелие Иакова». Ярчайший рассказ о рождении, детстве и родах Марьям, он стал основой её легенды на века.

В этом тексте родители «приносят» трёхлетнюю Марьям в дар и «на служение». Иначе говоря, отдают в храм на воспитание. По прибытии первосвященник целует её и ставит на третью ступень жертвенника — «и она затанцевала ножками, и весь дом Израиля полюбил её». Она «как голубка» живёт в храме до двенадцати; дальше служить нельзя — по закону, менструации в черте святилища запрещены. Ангел велит первосвященнику собрать «всех вдовцов народа», «каждому принести свой жезл». Когда из конца жезла Иосифа вылетает голубь — это знак: ему быть мужем.

Сначала — обаятельная сказка, даже с фрейдистской символикой голубя из жезла. Можно пока отодвинуть тревожный образ трёхлетней, «танцующей за ужин», и картинку «клеточной голубки на откорме». История льстит желанию видеть Марьям особенной, избранной — что уж особее «любимицы» храма?

Но что значило быть «дочерью храма» в действительности? Это была обычная практика организованной религии Вавилона, Греции, Рима. Девочек отдавали в храм семьями — чтобы покрыть долги или исполнить обеты. Большинство считало это честью — как в традиционных католических семьях радовались дочери-монахине.

Только это были не «храмовые девы» вроде весталок. Это — прислуга. Они таскали, чистили, шили, носили, готовили, подметали — весь невидимый труд, который мы замечаем лишь, когда он не сделан. Их реальность мало напоминала сказку «Книги Иакова». В лучшем случае на них не смотрели, в худшем — злоупотребляли.

Записей о таких девочках в Иерусалиме нет — архивы сгорели с храмом в 70 году, — но вероятно, что эллинизированный храм Ирода перенял обычай. Отцы и в Палестине продавали дочерей; отдавали за долги — как и ныне в бедных регионах Средней Азии. Дочери становились заложницами — «должными рабынями», отрабатывающими отцовский долг. А храм в Иерусалиме часто и был источником долгов; немало дочерей наверняка так и отдавали.

Если бы Марьям была среди них, работала бы не в самом храме — это было бы честь, не труд для рабыни. Но огромные дома священнического квартала на склоне напротив храма стояли на рабском труде. Там Марьям служила бы в женской половине: купала, вытирала, душила господ, кормила с ложечки больных, стирала одежду — и нижнее, и даже тряпки во время месячных. И, взрослея, как часть имущества главы дома, вполне могла стать частью его «сексуального имущества». Насилие над слугами и рабами — и девочками, и мальчиками — было обычным среди знати эллинистического мира — как всегда случается, где богатство и власть дают одним полный контроль над другими.

Член высшего священства мог «соблазнить» такую девушку так, как мы слишком хорошо знаем: сладкоречивый гуру с покорной ученицей, любвеобильный телеевангелист с восторженной прихожанкой, педофил-священник с застенчивым мальчиком-алтарником — независимо от вероучения приёмы одни: шептать о святом, творя профанное. Но, скорее

всего, первосвященник I века не утруждал бы себя «соблазном» — девочка ведь «собственность храма», и эн мошіа ла — «некому её спасти».

И если беременность становилась результатом — храм прикрывал бы. Нашёлся бы жених. Найти было необходимо: закон требовал, чтобы изнасиловавший деву либо женился сам, либо нашёл другого мужа — убеждённого властью, деньгами, вероятнее — и тем, и другим, — «заместить» отца. То есть — своего рода Иосиф.

Психоаналитически такой сценарий соблазнительно объясняет многое. Где ещё быть двенадцатилетнему Иисусу, как не «в доме Отца моего» в храме? Как ему потом не обличать религиозную верхушку, что надругалась над его матерью и выставила её беременной? Как не стать бунтарём, раскачивающим шаткое равновесие оккупации и священно-политической власти, частью которой был его биологический отец?

Но страсть всё объяснить мешает здравой оценке вероятностей. Как и всякая удачная выдумка, «Книга Иакова» содержит зерно возможного. Но именно зерно. Верить, будто Марьям росла при храме, — натяжка, и огромная. Евангелисты — на столетие ближе к ней, чем автор «Иакова», — не упустили бы такую связь, будь она реальна. Слишком уж «хорошая» история — как сейчас — слишком «хорошая, чтобы быть правдой».

Почему же так хотелось и хочется верить? Ответ — в странной, живучей «родовитой» снобистской фантазии. В прошлых жизнях мы почти никогда не крестьяне — непременно голубой крови. Сюжеты старых сказок и современной фэнтези часто крутятся вокруг тайного благородного рождения. Даже великие авторы поддаются: Роберт Грейвс в «Царе Иисусе» игнорирует политику I века ради идеи, что Иисус — скрытый внук Ирода, «тайный царь иудеев».

Мы не так уж демократичны, как себе льстим — и не так уж «христиански», к слову. Наши герои воображения — элита, не сыновья бедных крестьянок. Как автор Матфея, столь рьяно выводивший Иисусу родословную от Давида, что целую главу тянет нитку от Иосифа до Авраама, — какая-то часть нас всё ещё верит в «линию», хотя главный пункт учения Иисуса — он пришёл от и для простого народа.

Картинка Марьям, «подкармливаемой со стола священников», вместо горбатого труда на каменистых склонах Галилеи — оскорбление не только её реальности, но и христианству — по крайней мере тому, что можно связать с проповедью Иисуса. Превратить трудягу Марьям в балуемую «Марию» — в лучшем случае закрыть глаза на «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Небесное», а в худшем — отвергнуть это.

И мы вновь приходим к Иосифу — вечно присутствующему, хотя вечно отсутствующему. Именно его отсутствие облегчает веру в сенсационные версии — вместо самой очевидной: Иосиф был тихим, постоянным присутствием в жизни Марьям, а Иисус родился через девять месяцев после их брака.

Это самый простой ответ — и бритва Оккама должна бы играть за него. Родословие Иосифа у Матфея (и повтор у Луки — аж до «Адама, сына Божия») странно бессмысленно, если Иисус не сын Иосифа «по плоти». Лука, кстати, говорит, что в Назарете его и знали так: «Не сын ли это Иосифов?» Позже у Иоанна — дважды: «Иисус, сын Иосифов».

Ещё важнее косвенное свидетельство Павла — он пишет на поколение раньше евангелистов, всего через двадцать лет после распятия. Он не называет родителей по имени, но намекает на отцовство Иосифа, говоря о «Сыне Божиим Иисусе Христе, Господе нашем, рождённом от семени Давидова по плоти». «Семя Давидово» — сперма Иосифа. Ранние отцы Церкви, как Игнатий Антиохийский, следовали Павлу: Иисус «произошёл и от семени Давидова, и от Духа Святого». Идеальный случай двойного отцовства: человеческое царское — и божественное наследие.

Всё остальное — двусмысленность вокруг Иосифа и неопределённость статуса Марьям — результат усилий евангелистов подвести историю рождения под библейские пророчества. Они, собственно, это и не скрывали: «да сбудется речённое пророком...». Им нужна была беременность «до брака», чтобы рождение было не только чудесным, но и «пророческим». Реальная роль Иосифа отступила перед Божественным Отцом: ему выдали коричневое одеяние и увели на задник.

Сделать это было нетрудно: евангелистов не слишком заботило, «откуда» Иисус. Физическая реальность — не суть, потому его даже не описывают. Что там внешность, родственные связи, деревенские дела, — когда «Царство Небесное близко»? Они писали богословие, не биографию. Важна весть. Вестник умрёт — весть останется.

Неудивительно, что отношения Иисуса, Марии и Иосифа в Евангелиях нарисованы странно напряжёнными, порой враждебными. Иисус говорит как вдохновенный проповедник нового порядка, а не как сын. В двух случаях, когда он обращается к Марии, он говорит «женщина», не «мать». К Иосифу не обращается вовсе. Ему будто чужда сама идея семьи: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца и матери... жены и детей... — не может быть Моим учеником». «И отцом себе не называйте никого на земле; ибо один у вас Отец — Небесный». Будто бы «рождение по плоти» — случайность; смысл даёт лишь рождение свыше: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».

Некоторые учёные полагают, что он говорил как человек, которому и вправду «некого назвать отцом на земле» — «незаконнорожденный». Но это слишком буквальное чтение: сам термин был так же неуместен в I веке, как всё менее уместен в XXI. В Палестине времён Марьям «бастардом» считался лишь ребёнок замужней женщины от другого мужчины — то есть там, где поставлено под угрозу наследование. Иначе всякий ребёнок — законный член общества, рождённый в хамуле, большом родовом доме, где главу называли «отцом» вне зависимости от биологии.

«Родиться свыше» — явно метафора, и так её и понимали, тем более что подобные идеи были и в языческих культах того времени.

Иосиф мог быть биологическим отцом. Мог — «заместителем». Можно видеть в нём родственника, взявшего беременную Марьям в дом — по долгу рода или, как у Матфея, по велению ангела. Можно — обычного мужа своего времени: брак по договору, невеста приходит в дом с приданым, а первенец рождается через девять месяцев. Можно — не видеть его вовсе.

Мы не узнаем наверняка. И, может быть, надо спросить — важно ли это?

Поиск «настоящего отца» выглядит сегодня странно сентиментальным — и для времени Марьям, и для нашего. Почти треть детей в США рождается у незамужних матерей. В Норвегии — половина. В Исландии — 62 процента. В Британии — 38. Во Франции — 41. И в глубоко католической Ирландии, где аборт до сих пор во многом вне закона, — 31 процент.

«Незамужняя мать» не всегда означает отсутствие отца — то есть, что отец ушёл и ни за что не отвечает. Многие продолжают отношения с отцами своих детей — просто не вступают в брак, по принципу или по невозможности. Они выбирают материнство. При том, что аборт, как правило, безопасен, легален и относительно доступен, они выбирают выносить беременность и растить ребёнка как единственный юридический родитель. Их дети носят фамилию матери, не отца.

Исходя из всего, что мы знаем о Марьям — её стойкости, умении, мужестве, — она вполне могла сделать тот же выбор. Но это не значит, что она была «матерью-одиночкой»: такого просто не существовало в крестьянских деревнях Палестины. Её и ребёнка принял бы род; ребёнка растила бы большая семья, как было принято. Отсутствие мужа не было редкостью: женщины выходили замуж в зрелости, за мужчин вдвое старше, многие рано становились вдовами; младшие дети нередко не знали отцов. Многие мужчины, лишённые земли, уходили на заработки надолго, оставляя жён и детей на попечение рода; «соломенные вдовы» — но дети — вовсе не сироты.

Марьям — мать, и этого достаточно. Для нас — тем более должно быть достаточно. Возможно, она вышла замуж, возможно — нет. Возможно, Иисус знал человеческого отца, возможно — нет. Но как ни посмотри, всё держится на Марьям. Действенной была она. Её решение доносить и родить определило всю западную историю последних двух тысячелетий.

Без Иосифа ничего бы не изменилось. Без Марьям — изменилось бы всё. Это Марьям выбрала своего сына, Марьям родила его, Марьям кормила и растила его, Марьям научила его всему, что знала. Марьям, *бе-эзрат ха-шем*.

ЧАСТЬ 3. ЕЕ ЖЕНЩИНА

Глава 8

Его зовут Холм Черепов. По-арамейски — Голгофа. Место казни, сразу за северо-восточными воротами города.

На деле это скорее взлобок, чем холм, и всё же имя подходит. В ближайшей ложине и правда перекатываются черепа — вместе с костями ног, рёбер, рук: всё, что остаётся от распятых, тела которых солдаты сбрасывают туда, чтобы их дочиста обобрали шакалы и гиены, коршуны и грифы.

Еслиходишь в Иерусалим с этой стороны, Голгофу не миновать. Даже когда на крестах никого нет, здесь тянет смертью. Вертикальные столбы крестов вмурованы в скалу навсегда, дожидаясь следующей партии — тех, кого прибьют к тяжёлым перекладинам и вздёрнут. И слишком часто перекладины уже торчат на месте. Обычно — несколько человек, но после беспорядков или бунта — десятки. Порой — сотни. Точнее, останки сотен.

Некоторые ещё живы — если это можно назвать жизнью. Каждый сиплый вдох — битва, гигантское усилие срывающихся мышц. По сути они уже мертвецы, ждущие милости последнего вдоха. А под крестами, на расстоянии, которое держат солдаты, те, кто их любил при жизни, стоят на страже — переживая свою медленную смерть, смерть души.

Солнце светит, но светит как-то холодно-чисто, из реальности, совершенно далёкой от Марьям. Для неё мир — тьма. Всё, что было само собой разумеющимся, всё, что казалось прочным и истинным, осыпается, отваливается. Даже земля под ногами.

Всё её тело дрожит, и кажется, что вместе с ней вздрагивает земля — от ужаса и протеста.

Лёгкий ветерок приносит звуки города поверх стен. Но как могут птицы петь, ослы реветь, люди болтать, торговаться, сплетничать — когда творится это? Как может быть что-то, кроме страшной тишины — такой громкой, что звенит в ушах, выталкивая всякий звук, даже зрение, всякое ощущение чего-то, кроме одной-единственной вселенской муки, обволакивающей всё — её тело, её ум, её мир.

Полдень клонится, солнце в беспощадной вышине. Женщины вокруг уговаривают её хотя бы воды глотнуть, если не поест. Она не слышит. Какая мать сможет есть или пить, когда её сын медленно умирает у неё на глазах?

Говорят, в предсмертный миг перед глазами проносится жизнь. Теперь она знает: когда умирает сын, часть тебя умирает вместе с ним. Она видит себя — много лет назад, с огромным животом, едет на осле, которого ведёт Иосиф. Почти улыбается, вспоминая, как он выбирал самую ровную тропу — даже малейшая кочка или спотыкание отдавались в ней толчком. Ей бы дома быть — с родней-женщинами в комнате и с Саломе, сидящей между

ног, — ждать, когда схватки участятся. Женщины бы гудели родильные песни, а мягкая сила рук Саломе давила бы ей на живот. Вместо этого она ехала по хребту от Назарета к Вифлеему Галилейскому — становиться на перепись. Вечером, в доме Иосифовых родственников, чужие женщины уложат её рожать в сырой тёплой соломе под домом, в стойлах. А наутро иродианский писец запишет новорождённого — вифлеемца, жителя Назарета.

Теперь она действительно далеко от дома. Она трясёт головой, пытаясь сосредоточиться на, казалось бы, простом: стоять, глаза открыты. Борется с желанием рухнуть на землю, свернуться калачиком, закрыв голову руками. Если всё, что она ещё может, — быть свидетелем, то, клянусь Богом, она будет.

Она почти не помнит собственного крика, когда им пробивали руки и ноги, хотя тело помнит — как её всю сводило при каждом ударе молота. Как давно это было? Часы, да — только рассвело, когда всё началось. Но чувствуется как вечность. Точнее — как один бесконечный миг, не отпускающий, отказывающийся двигаться дальше, будто само время застыло.

Смутно вспоминает, как бросилась на солдат, когда они вздёргивали перекладину. Как рвала на себе тонкую рубаху. Как льющим потоком вырывались мольбы: «Возьмите меня. Меня — вместо него!» Другие женщины удерживали её, а солдаты гоготали и осыпали её ядовитыми пошлостями. «Он мой единственный сын, — кричала она. — Единственный. Оставьте его в живых, только это прошу — и делайте со мной всё, что угодно. Всё!»

Солдаты смеялись и поворачивались к ней спинами.

Чего ещё ждать? Эти из крепости Антония, римского гарнизона над храмом. Сирийские наёмники — грубые люди, ненавидящие эту службу и потому ненавидящие тех, из-за кого они здесь. Что им до отчаянных мольб матери? Видали и слышали сотни раз.

Может, они и матерей своих не знали. Некому было шептать им сказки у изголовья. Она видит глаза своего мальчика — блестящие, пока она рассказывала истории, что Саломе рассказывала ей самой — открытые концовки, чтобы убаюкивать тайной. Помнит, как он заслушивался притчей о блудном сыне, который «пропадал и нашёлся». Или просил «ещё», уже засыпая на притче о свадебном пиру: «Много званных, да мало избранных». Тогда на этом детском лице появлялось упрямство, странно взрослое. А когда она рассказывала о Езекии и его отважных повстанцах, взгляд становился яростным, и он засыпал чуть насупившись. Наверно, ему снилась свобода, воля и справедливость для всех. Как будто он мог изменить мир.

Не для этого ли он был «избран»? Солнце всё так же льётся на Голгофу, словно ничего не происходит. Люди входят и выходят из ворот и отводят глаза. Солдаты кидают кости — коротают время, будто не слышат рваного дыхания из измученных лёгких.

Конец близок — должен быть. С ужасом она ловит себя на том, что молится о смерти сыну — молится небу, воздуху, холмам, любой силе, способной положить конец. Смерть — единственный выход из муки. Для него. Для неё — мука останется. Это проклятие выжившего.

Может, ей не стоило учить его тому, что знала. Не стоило отвечать на вопросы, пока они с Саломе готовили травы. Но он был таким быстрым, схватывал так легко, будто сама сила исцеления всегда жила в нём и только ждала её, чтобы высвободиться. Она помнит свою гордость, когда он впервые смешал жёлтую толчёную глину со слюной — уверенно, словно делал это всю жизнь. Как спокойно положил смесь на загноившиеся глаза новорождённому ягнёнку. И кивок — как самоочевидность, что глаза заживут — он и не допускал иного.

Эта гордость была опасна, понимает она. Какое уж тут исцеление...

Один из его учеников подходит к играющим солдатам. Идёт с уверенной важностью богатого человека. Иосиф — вспоминает — Иосиф из Аримафеи. Несколько слов. Солдат встаёт; на солнце блеснуло — из руки в руку перелетела золотая монета. Солдат подходит к кресту её сына. Резкое движение. Вспышка металла — удар в бок.

Она вскрикивает, словно копьё вошло в неё. Словно это из её раны хлещет кровь. Словно это её голова безвольно повисла. И её стон — уже едва слышный вздох.

Солдат вытирает копьё о землю и сплёвывает с отвращением — и что-то в этом жесте ломает её оцепенение. Она вырывается из женского круга и бросается к кресту. Всё, что она знает: нужно подойти как можно ближе, дотронуться в последний раз. Она вцепляется в столб, словно её уже пытаются отодрать. Поднимает взгляд — и видит кроваво-налитые глаза, смотрящие вниз.

И её охватывает ледяной ужас: это глаза чужого, что спал у неё на груди. Глаза кроткого, подвергнутого невыразимому насилию. Сына, ушедшего так далеко, что он уже не узнаёт мать. Держащегося за этот мир на тончайшей ниточке — и вглядывающегося туда, за край, в бездонную глубину.

Она слышит звук, будто идущий со всех сторон сразу, — долгий, низкий вой, более первобытный, чем любой из тех, что она слышала. Она слышала смертельную боль животных, слышала рожениц, слишком часто — предсмертные стоны распятых. Но такого — никогда. Это звук, от которого дыбом становятся волосы, от которого бьёт дрожь даже в пекло. Звук, пронзающий душу каждого в пределах слышимости, остающийся там и преследующий до самой смерти.

И постепенно до неё доходит: рот открыт у неё. Этот страшный звук — её собственный. Он поднимается с глубин её существа и рождается в безразличный мир.

Гуляешь по Израильскому музею в Иерусалиме — и вдруг, без всякой подготовки, оказываешься лицом к лицу с человеческой лодыжечной костью на стене, примерно на уровне глаз. Почти безобидно, если не странно — всё-таки это не музей естественной истории — пока не понимаешь: сквозь кость пробит гвоздь. Грубый, шестидюймовый. И тогда понимаешь — гвоздь там, потому что загнут, и его нельзя было вытащить и использовать снова.

Удар от этой картины — нутром. Подступает тошнота. Волоски встают на руках. Впервые реальность распятия — буквально перед глазами.

Она — жуткая. Даже сегодня, когда методы пыток стали «утончёнее», сама мысль о распятии вызывает дрожь. Не крест как икона. И не картины Христа на кресте — с их странной смесью набожного и эротического. А вот физические доказательства — другое. Это была невыносимая смерть.

Использовали железные гвозди. Не всегда — иногда просто привязывали к перекладине верёвками. Иногда прибивали лишь кисти. Иногда — и кисти, и стопы. У владельца той кости из музея ноги прибили по обе стороны от стойки.

Иногда на столбе был упор для ног, но и он не спасал — лишь продлевал муку. Замученный пытался на нём стоять, тщетно удерживая контроль мышц. Тело само, без выбора, боролось — держать вес, не дать повиснуть целиком на руках. Но долго оно не могло. Неизбежно сдавалось — и тогда его убивало удушье. Трапециевидные, ромбовидные, дельтовидные — все плечевые, спинные, грудные — сдавались, и тяжесть тела, висящего на плечах, сжимала грудную клетку, перекрывала дыхательное горло и лёгкие. По сути, его убивало собственное тело.

Если «везло», перед тем его пороли. Да, «везло»: порка ослабляла — и он умирал быстрее. В этом и был дьявольский смысл распятия: предварительная пытка оборачивалась милостью. Всё переворачивалось с ног на голову: то, что нам кажется жестоким, оказывалось «добрее», и наоборот. Подножка тянула смерть, порка её ускоряла. Распятие разъедало не только тело, но и базовые ориентиры морали.

Иногда солдаты вонзали копьё в бок распятого — и тот быстро умирал от потери крови. Иногда ломали дубинами колени или голени — чтобы он не мог упираться ногами и тоже быстрее задохнулся. Но это не была жалость. Солдатам могли заплатить родные. Или им хотелось развлечься — как юным психопатам, терзающим беспомощное животное, — поэтому иногда подвешивали вниз головой или в непристойных позах. А иногда — просто от скуки, лишь бы разнообразить долгую казнь. Или — от нетерпения: домой хочется, к постели или ужину, а они устали от стонов и вони.

Про вонь — почти не говорят. Это была предельно унижительная смерть ещё и потому, что у жертвы сдавали сфинктеры — у всех на виду. Опять-таки религиозные картины вводят в заблуждение: из уважения или wishful thinking они «одевают» Иисуса в набедренную повязку, хотя распинаемых обычно раздевали догола. Это было окончательное снятие

остатков достоинства. Всё, на что он мог надеяться, — случайная «милость» копьём в бок или удара по коленям и быстрая смерть — «быстрая», то есть за часы, а не дни.

Никто не знает точно, сколько людей распяли в Палестине за годы римского контроля, но точно — тысячи. Распятия редко были «штучными» — и не «по три», как в привычном образе. В 4 г. до н. э. наместник Вар расправился с восстанием после смерти Ирода Великого, распяв две тысячи «буянщиков» в одном Иерусалиме — в городе примерно на пятьдесят тысяч — почти десятая часть мужского населения. Сложите распятия, о которых пишет Иосиф Флавий в восстаниях против Рима, — выйдет около десяти тысяч. И это — без счёта «обычных» времён: тысячи казней за бедняцкие городские преступления вроде мелкой кражи, за реальные или мнимые «госпреступления».

Но индивидуальная мука не была «смыслом» распятия. Смысл — демонстрация абсолютной, беспощадной власти и её следствие: вселение страха в свидетелей — страха не только смерти, но и её внезапности и бес-прецедентной безжалостности.

Судов не было. Процедур. Защиты. Тебя могли буквально схватить в поле или на улице, «опознать» — верно или нет — как угрозу императорской собственности, общественному порядку, государственной безопасности — и повесить за руки до смерти. «Правосудие» по-римски — быстро и безжалостно.

Неизбежно распинали и совершенно невиновных. Кого-то — за то, что оказался «не там, не тогда», как Иосиф у Жозе Сарамы. Кого-то — за мнение, за родство «не с тем» человеком, за чью-то личную вражду, обернувшуюся обвинением в подстрекательстве. Вопрос был не в вине — а во власти. Страх — главный инструмент тоталитарного государства: удержать население покорным, пресечь даже возможность сопротивления.

Как пишут библейские историки Ричард Хорсли и Нил Эшер Силберман: «Распятие — одна из чистейших форм государственной жестокости. Это было не меньше общественное наказание и санкционированный государством террор, чем карательная месть за конкретное преступление... Кресты, вбитые у городских ворот, предупреждали возможных бунтарей, беглых рабов и пророков-мятежников о том, что их ждёт». То есть предупреждали и всех, кто им сочувствует.

К эпохе Марьям распятие веками служило именно этому. Римляне, вероятно, переняли его у карфагенян; пользовались им и персы, и раньше — ассирийцы, скифы. И иудеи распинали иудеев.

Храмовый свиток — часть ессейской кумранской библиотеки — перечисляет «повешение на дереве» как наказание за измену общине. Неясно, приводили ли ессеи его в исполнение, но ясно, что Хасмонеям это наказание было «не чуждо» за их столетнее владычество. Александр Яннай, один из самых агрессивных и деспотичных правителей, распял восемьсот пленных в качестве «зрелища» во время пира с наложницами.

По всему Средиземноморью и Востоку сотни тысяч — в основном мужчины, но порой и женщины — были казнены так. Кресты вставляли после восстаний рабов в Риме и

Карфагене, после народных бунтов в Палестине и Александрии. Но при всей преднамеренной мерзости и унижении распятие вовсе не было «позорной» смертью. Наоборот — это было наказание за дерзость мечтать о свободе.

«Кого казнил Понтий Пилат — один из самых печально известных головорезов в истории Рима — тот был героем», — замечает А. Н. Уилсон. Это уже не просто жертва — часть большего. Кара, призванная отпугнуть, вдохновляла. Осознанный риск такой смерти становился высшей отметкой мужества.

К моменту, когда Марьям стояла у подножия креста, распятие стало символом сопротивления. С детства — когда она видела, как распяли массово повстанцев, занявших гарнизонный Сепфорис, — она знала: такова участь благороднейших и храбрейших. Виденное породило в ней — как и во многих — не покорность, на которую рассчитывали римляне, а обратное. Она уходила, охваченная яростным отчаянием, ещё крепче решив восставать против угнетения — чего бы это ни стоило.

Как в современной Палестине, так и две тысячи лет назад — стыд обращался в честь, унижение — в гордость. Погибнуть в борьбе за свободу — обрести вид бессмертия. Стать героем песен и преданий; смерть признавалась выбором, а не навязанной. Так умерший становился примером, его гибель — жертвой не только физической, но и метафизической. В смерти он становился больше, чем при жизни. Становился мучеником.

И тогда, и теперь фигура мученика рождается на границе политики и религии. И неизбежно там рождаются легенды. Случившееся оказывается менее «реальным», чем то, что «должно было случиться». Истории, пересказываемые снова и снова, украшаются, шлифуются под цель рассказчика, пока не начинают отражать больше мысли и желания говорящих и слушающих, чем сами события.

Когда евангелисты через три поколения взялись писать историю жизни и смерти Иисуса, они не стремились сочинять вымысел — но и истории тоже. Их заботила богословская истина, цель — то, что под силу только богословию: творить жизнь из смерти. Они писали, чтобы вдохновить — связать случившееся с предсказанным. Или, как раз-за-разом повторяют Иоанн и Матфей, — «да сбудется речённое пророком» и «да исполнится Писание».

Рассказ о распятии всё время отсылает к Танаху. Последние слова Иисуса у Матфея — «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?» — начало Псалма 21 (22). У Луки — «Отче, в руки Твои предаю дух мой» — Псалом 30 (31). «Тьма по всей земле» — у Амоса; въезд в город «на жеребёнке ослицы» — у Захарии; губка с уксусом — Псалом 68 (69); «пронзили руки и ноги» и жребий о ризах — Псалом 21 (22). Евангелия дают то, что Джон Доминик Кроссан назвал «историзацией пророчеств».

Большинство учёных сегодня сходится: суда перед Пилатом не могло быть. Не было причины тащить деревенского проповедника так высоко по цепочке командования — на «формальный допрос», тем более — на суд. Не было никакого землетрясения, ни солнечного затмения, ни разрыва завесы храма у входа в Свята Святых. Это — то, что

«должно было быть», и потому в пересказе «стало». Как «избиение младенцев», как «бегство в Египет», как «приход трёх волхвов» — всё элементы того, что Джозеф Кэмпбелл называл «путешествием героя».

«Те, кто рассказывал это друг другу, прекрасно понимали, что такие детали не “историчны”, — пишет историк Джеймс Кэрролл. — Они знали, скажем, что “несшитая риза” — не про одежду Иисуса, а многослойная метафора: такую ризу носил лишь первосвященник — и только входя в Святая Святых. Для первого круга учеников такие детали ничего не “доказывали”. Смысл был не в доказательстве, а в выражении. Смысл — в плаче. Смысл — в скорби. Смысл — в наведении порядка в хаосе, в самом страшном, что могло случиться. Смысл — в истории».

Но если пророчества историзировали, была и самореализующаяся часть. Марьям едва ли сомневалась: рано или поздно — скорее рано — увидит сына распятым. Он — активист, он проповедует равенство и справедливость; он собрал последователей — пусть и только в северной Галилее; а теперь дерзко дразнит власть на её территории — в Иерусалиме. Каждый шаг — идущий к Голгофе.

Его весть о царстве бедных и униженных была подрывной для ушей богатых. Принести её в Иерусалим на Песах — явная провокация. Песах — праздник исхода, свободы — всегда время политического напряжения: войска Ирода на улицах, настороже, ждут малейшего повода. Переворачивать столы менял во дворе храма могло привести лишь к одному: арест и казнь.

Марьям, должно быть, готовила себя к неизбежному месяцами, если не годами. Надеялась против надежды, что не случится, зная — случится. Но знание не облегчает. Напротив — ещё тяжелее. Она переживала свой кошмар — лицом к лицу с худшим, что может случиться с матерью: смертью ребёнка.

Странно, но на великих «пъетах» Марьям не стареет — она молода и свежа, как при Благовещении. Хотя даже по «канону» ей сорок шесть — в её времена возраст, когда волосы уже седы, лицо исчерчено временем, ветром, жизнью.

По меркам палестинской крестьянки две тысячи лет назад сорок шесть — старость, и всё же мы знаем, что Марьям была здорова: иначе как бы следовала за сыном по Галилее и ходила в Иерусалим? Куда вероятнее, что ей — на десять меньше: тридцать шесть.

Мы знаем: забеременела в тринадцать. А ещё «знаем» (или думаем), что Иисусу было тридцать три в 30 году н. э., в год распятия. Но это — если он родился в 4 до н. э., а это всё больше под вопросом. Сегодня большинство скажет: родился «между 4 до н. э. и 6 н. э.».

Раннюю дату держали ради одного довода: «в дни царя Ирода», как пишет Матфей, — значит не позже 4-го года, когда умер Ирод Великий.

Но «Ирод-царь» был не один. После смерти Великого Рим разделил его владения между тремя сыновьями, сделав каждого клиент-царём с титулом «Ирод». Старший, Архелай, получил Иудею, но лишь на десять лет — его выслали в Галлию, а вместо него поставили прокураторов, подчинённых сирийскому легату (самый печально известный — Понтий Пилат, 26–36 гг.). Второй, Филипп, — Итурею (ныне юг Ливана и Сирия). Младший — Антипа — получил Галилею и правил весь век Иисуса. Именно его евангелия смешали с отцом.

История о «избиении младенцев» вроде бы прибывает год к правлению Великого, но нет ни одного внешнего свидетельства, что он приказывал убить всех новорождённых в окрестностях Вифлеема. История почти неизбежна — Э. Мэри Смоллвуд называет её «типичной легендой о тиране, которая легко вырастает после смерти ненавистного деспота». А рассказ Матфея о спасении — «бегстве в Египет» — «типичный сюжет чудесного избавления в младенчестве великих».

Единственный реальный маркер года — перепись, ради которой Марьям и Иосиф идут в Вифлеем. У Луки — она «в дни Ирода, царя Иудейского», по приказу Квирина, наместника Сирии. Но Квирий (Кирий) не был наместником ни при Великом, ни при Архелее. Он стал им в 6 году н. э., после смещения Архелая. Иосиф Флавий подтверждает в «Иудейских древностях»: перепись была именно тогда — разумный первый шаг нового наместника.

Значит, «Ирод» — Антипа, галилейский клиент-царь. Год — 6 н. э., не 4 до н. э. Значит, Иисусу двадцать один, когда он начал проповедовать, и двадцать три — когда его распяли.

Нет никаких «пропавших лет», никаких загадочных дыр, которые так любят искатели эзотерики. Не нужно фантазий про Индию или Китай. На деле такие сценарии губительны: галилейские крестьяне не пошли бы за тридцатилетним чужаком в «иностранном» одеянии с «чужими» идеями. Иисус привлёк людей тем, что был из их времени и места, говорил об их насущном. Он — один из своих, с галилейским выговором, языком израильских пророков. И в двадцать один у него — вся энергия, идеализм, дерзость возраста — так ощутимые в евангелиях.

Через два года его казнят — значит, Марьям тридцать шесть, когда она стоит у креста. В наших мерках она молода; в её — как западная женщина чуть за пятьдесят: уверенная в своей силе, уме, способности. Всё это ей теперь понадобится.

Как мать переживает смерть сына — такую? Да, она «выживает», буквально — но как большая часть её не умирает вместе с ним, когда видит его сведённым к беспомощной муке? Она чувствует его боль как свою — зная, что её доля — лишь часть. И вынуждена пережить почти худшее — бессилие. Её заставляют быть зрителем, над ней глумятся солдаты — что она может?

Она клянёт. Кричит, ругает, протестует, пока сипота не душит слова. Плачет, хотя слёзы давно иссякли, и она «плачет пустотой». И все вокруг и поощряют, и ждут этого. Распятие — самая публичная смерть — значит, её горе — самая публичная скорбь.

Кто был с матерью, потерявшей сына на войне, тот знает, как частное подменяется национальным. Сам по себе перевёртыш природы — когда ребёнок уходит раньше родителя — страшен; но к нему примешивается ещё один уровень: быть в центре внимания, когда хочется лишь свернуться и умереть самой.

Вы видите это на похоронах восемнадцатилетнего израильского солдата. Или подростков, убитых «в теракте» — за тем, что покупали пиццу или «зависали» в торговом центре. Или молодого палестинского сборщика оливок, застреленного на своих деревьях; или десятилетнего — за камень в танк; или пятилетнюю, высунувшуюся за дверь во время комендантского часа — и встретившую пулю. Худшее — крошечный свёрток ребёнка под общим саваном — и в исламе, и в иудаизме.

Видишь семью, стянутую вокруг могилы — «расширенную» — в такие дни даже самые «западные» семьи из близких превращаются в большие: забываются степени родства, к ближайшим добавляются двоюродные, троюродные, свойственники, двоюродные тёти, всевозможные «по браку» и «по крови». И к ним плотно липнут человеческие «стервятники» — не только медиа, но и «прилипалы»: те, кто всегда «тут как тут» при чужом горе. Они кормятся им, лезут к объективам, раздувают собственную важность, присваивают чью-то трагедию. У одних в этом политическое, у других — болезненное; у большинства — странная смесь. Они реагируют — часто не осознавая — на страшную истину: насильственная смерть оживляет живых. Она собирает. Сплачивает в беде.

А в центре — всегда мать. В платке и каменной, или наизнанку вывернутая горем — взгляд всех на ней.

Частное становится невыносимо, наголо публичным. Даже её слёзы используют, чтобы будоражить гнев или жалость. Она почти не замечает камер — пока позже не увидит фотографии и не содрогнётся. Как не содрогнуться? Снимок твоей скорби — искажённые черты, смятая одежда, тело скрюченное болью — одна из глубочайших инвазий в интимное. Будто сама камера хочет украсть её горе.

В дни после похорон нескончаемый поток «сочувствующих» больше сбивает, чем утешает. Иногда она не знает их имён. Незнакомцы держат её за руку, обнимают, заглядывают в глаза — будто понимают. Она знает — нет. И не могут. Но скорбь ослабила её, и сил на отповедь нет.

Она понимает: они пытаются помочь. Или — вероятнее — помочь себе. Они желают добра. Большинство. Но она знает голую, простую истину, знакомую каждой матери в трауре: утешения нет. Его не существует для смерти ребёнка.

Утешители повторяют мантру: «Это — не зря». Он погиб «правым делом». За страну. За честь. За свободу. За справедливость. Он на небесах — с мучениками, святыми, ангелами. Будь уверена: мы отомстим.

Но она не уверена. И не отдыхает — вообще. Сына внезапно вознесли — и она чувствует, как его у неё забрали во второй раз: сперва смерть, потом — все те, кто присваивает её горе. Она пытается сказать: месть бессмысленна. Ничто и никто не вернёт его. Всё — впустую. Всякая насильственная смерть. Каждого. Вызов справедливости, свободе, самой человечности. Она чувствует — снова подымается тот первобытный вой, из глубины, где будто вся земля кричит протестом и отчаянием. И когда он охватывает её, ей не до «грации под давлением». Она знает одно: эта смерть — неправда, неправда, неправда.

Художественный образ спокойной, примирённой Марии, держащей мёртвого сына с «бесконечным состраданием», — возможно, благими намерениями, но как жестокая ложь. Видеть её стоической — значит не просто лишить её права на скорбь; это — отказать ей в человечности.

Давайте хотя бы позволим ей чувствовать и выражать настоящую скорбь. Дадим ей облегчение — кричать в голос, клясть виновных — судьбу и богов, Яхве, римлян, Ирода, храм — кого угодно: для неё виноваты все. Давайте услышим её долго и громко — тот звериный вой, который не выключить, даже закрыв уши, — как железный гвоздь, проходящий насквозь сердце.

А потом — спросим: что она делает с этой скорбью?

Глава 9

Несколько женщин вместе налегают на притвор, откатывая от входа камень и раскрывая устье гробницы. Такие большие округлые камни жизненно необходимы: они не подпускают шакалов и гиен, чтобы те не пробирались внутрь и не разрывали тела. Одна женщина подкладывает камень-клин под плиту, чтобы удержать её на месте, затем ещё две наклоняются и протискиваются в узкий проём. Те, кто снаружи, подают им тело.

Они работают слаженно; они делали это раньше, много раз. Погребение — женское дело. Женщины, которые приводят других в жизнь, сопровождают их и в смерти.

Внутри сухой запах истлевающих костей смешивается с затхлой сыростью разлагающейся плоти. Женщины натягивают платки на рот и нос. Пламя их масляных ламп мерцает в тесном густом воздухе, давая ровно столько света, чтобы оглядеть глубокие ниши, вырубленные в каменных стенах, — они ищут пустую.

Так хоронят в засушливой стране. Земля слишком ценна, чтобы отдавать её мёртвым. Тела помещают в ниши размером с гроб на первый год — пока плоть не высохнет в пыль. Потом кости вынимают из ниш — или, если семья богата, складывают в небольшой каменный ящик, — освобождая место для следующих.

У дальней стены кости сложены высоко, поблёскивая белёсым в слабом свете. Их аккуратно разобрали и разложили — к кости кость, — чтобы экономить пространство. Сложенные отдельными кучами руки, ноги и черепа образуют каждый свой узор — словно порядок можно вернуть в великое беспорядочное дело смерти.

Женщины уже приготовили тело. Они смыли кровь и грязь, выпрямили руки и ноги, расчёсывали волосы. Они помазали его травяными бальзамами и пряностями — помазали его в смерти так же, как помазывали в жизни, миррой, алоэ и чистейшим оливковым маслом, — затем обернули льняным саваном, оставив открытой лишь голову. Они пели псалмы, плакали и причитали. Теперь слёз больше нет.

Молча работая, они поднимают тело сначала ногами на каменную полку пустой ниши, потом медленно задвигают внутрь. Глядя на них, Марьям кажется, что они возвращают её сына в утробу, только теперь утроба — не из её живой плоти, а из безжалостного, непреклонного камня.

Прочие женщины отступают. Они дышат неглубоко, как дышат в усыпальницах, боясь вдохнуть чужую пыль. Но не Марьям. Она глубоко вдыхает, на мгновение закрывает глаза, собирается. И делает шаг вперёд.

Медленно, намеренно, она кладёт руки на голову сына: ладони по обе стороны, большие пальцы к темени, пальцы раскинуты по вискам, ушам, основанию черепа. Она подхватывает его голову. И, глядя прямо перед собой, в безликую темноту камня, позволяет тяжести своих ладоней продавить его.

Она чувствует тепло и пульс собственной крови у него под черепом — и давит сильнее. Весь её мир — в этом мгновении, вся её сущность течёт в ладони и пальцы. Плоть под её руками словно вытягивает из них тепло, впитывает его. Если давить ещё чуть-чуть, разве жизнь в ней не сможет перейти через кажущееся непреодолимым преградье смерти? Она уже дала ему жизнь однажды; неужели не сможет дать её снова?

Жилки вздуваются на её руках. Мышцы дрожат от напряжения. Держа его вот так, ощущая тяжесть его головы в своих ладонях, она как будто становится повитухой собственного сына — как будто одним точным поворотом кистей в нужный миг способна вытащить его из этого каменного чрева обратно в мир. Ладони будто вибрируют от силы. Всем телом она наваливается на работу. Закрывает глаза — и ощущает, как в нём поднимается дыхание, течёт кровь, возвращается жизнь...

Она чувствует ладонь у себя на пояснице — присутствие Магдалины за спиной. «Пора отпускать», — говорит эта рука. Марьям делает ещё один глубокий вдох и на выдохе отпускает.

Христианство начинается с этих женщин. Не с Павла и не с Петра, и не с грядущей череды святых и пап, а с этих женщин в гробнице. Они — основное ядро христианства: последние, кто видел тело Иисуса, и первые, кто увидел его воскресшим.

То, что им вообще позволили похоронить его, — необычно. Погребение распятого встречалось столь редко, что единственный физический остаток — тот самый скелетированный лодыжечный сустав распятого, найденный в Иерусалиме, с согнутым гвоздём, застрявшим в кости. И это отсутствие погребения было намеренным: частью продолжающегося ужаса такой смерти.

Тела оставляли висеть днями, порой — неделями. Они гнили на перекладинах, и каждый, кто входил или выходил из города, видел их. Когда ветер дул с запада, этот запах доходил и до тех, кто был за стенами. Даже невидимые, они оставались постоянным присутствием.

Солдаты, которым приходилось их снимать, должны были ненавидеть эту работу. Вблизи смрад был нестерпим, зрелище — по-настоящему жутким. Глаза, выклеванные стервятниками и коршунами, тела, кишасшие червями. Утилизация — самая низкая повинность, способ строевой дисциплины для назначенных солдат. Они срывали злость на мёртвых: калечили их и мочились на них, прежде чем, наконец, сбросить в ближайшую лощину, чтобы шакалы и гиены их рвали. Любого, кто попытался бы забрать останки, ожидало собственное распятие.

Когда кости дочиста обглаживали, они белели на летнем солнце и крошились под зимним ветром и дождём и, в древнем библейском признании участи всякой жизни, в конце концов обращались в прах.

Мёртвым, конечно, это уже безразлично, но не живым. Считалось, что непохороненное тело обрежёт душу на вечное беспокойное блуждание. Во всём Танахе труп, съеденный птицами и зверями, — ужас: удел вероломных и идолопоклонников. Даже если оставались лишь кости, их бережно хоронили — как кости Иосифа, принесённые из Египта в Ханаан. Царь Моава сжёг кости врага, чтобы подчеркнуть месть, так же как Иосия извлёк и сжёг кости идолопоклонников. И сегодня на еврейские могилы всё ещё кладут маленькие камушки, чтобы удержать дух и не дать ему блуждать.

Иисус был спасён от такой участи одним из самых богатых своих последователей — ещё одним Иосифом, пришедшим на помощь. Вряд ли Иосиф из Аримафеи просто попросил у Пилата отдать ему тело, как утверждают евангелия. Скорее, деньги тогда работали так же, как и теперь: делали возможным то, что иначе невозможно. Солдаты на распятии были так же плохо оплачиваемы и так же подкупны, как любые охранники где угодно и когда угодно. Правильная сумма обеспечивала отвёрнутые спины, пока тело снимали с креста, и слепые глаза, когда его передавали женщинам.

Женщины совершили свой обычный обряд: омыли тело и натёрли его оливковым маслом от дерева, что живёт тысячелетия, — дерева, которое казалось им бессмертным. Они называли душистое масломишха — «помазание», ведь им помазывали и царей. Помазанник, значит машиах, мессия — «тот, кто помазан». В греческом переводе слово сохранило исходный смысл: Христос — от «хризм», масло для помазания.

Когда тело было приготовлено, женщины завернули его в саван и принесли к гробнице. Но действительно ли они желали покоя этой душе? Эти женщины были мудры — столь же сведущи в делах смерти, как и рождения. Они наверняка знали парадокс: беспокойная душа — та, что продолжает жить. Они оплакивали тело так же, как Исис оплакивала Осириса, Иштар — Таммуза, Анат — Вала, Кибела — Аттиса, зная, что в каждом из этих случаев умершие были возвращены силой женской скорби.

В центре была Марьям. Как иначе? Так и должно быть: скорбящая мать обладает нравственной властью большей, чем вдова. Она знает этого ребёнка дольше любого другого; она родила его в муках, кормила, растила и любила его неуклонно. Её собственная плоть и кровь умерла, и узы чрева почти всегда сильнее выбранных уз любви, когда речь о праве на скорбь. Ведь у скорби есть статус. Самый тяжело добытый — и любая мать отдала бы свою жизнь, лишь бы не иметь его. Но раз этот груз возложен, если она сильна, она найдёт, как использовать его во благо. Она будет бороться за своего ребёнка — даже после смерти.

Ради себя самой она должна это сделать — и ради него. Иначе её сведут к бесконечной скорби и кошмарам на всю оставшуюся жизнь. Марьям не смогла спасти сына. Не смогла предложить себя вместо него. Но она всё ещё могла действовать. Могла вырваться из пассивной роли свидетельницы и сделать её активной.

«Не дай этому пройти незамеченным», — должно быть, убеждала она себя. — «Не будь тихо страдающей. И, прежде всего, не молчи».

А затем, решив, чего она не будет делать, решила, что будет: «Дай услышать свой голос. Сделай эту жертву значащей. Пусть это будет важно для мира».

В наше время именно так поступили Матери пропавших без вести — те, что объединились во время «грязной войны», которую аргентинская хунта вела против собственных граждан с 1976 по 1983 год. Отказавшись пасть духом, бросив вызов насилию и требованию молчать, они маршировали и протестовали, требуя, чтобы власть ответила за исчезновение их детей — в пыточных застенках и безымянных могилах. Они не сдавались — неделя за неделей, год за годом. И хотя вернуть детей они не могли, они помогли осуществить то, ради чего те погибли: падение хунты.

Такое требует силы, мужества, стойкости. Куда легче, кажется, уйти в пассивность — спрятаться в своей скорби, уклониться от публичной роли убитой горем матери и оставить всю работу утешителям. И бывают, конечно, моменты, когда любая мать-активистка, возможно, желала бы, чтобы так и поступила: когда борьба кажется слишком тяжёлой, долгой, безнадёжной. Но, в то же время, она знает: отказаться от публичной роли, дарованной столь дорогой ценой, — значит предать всё, во что верил её ребёнок — и ради чего умер.

Марьям не могла предотвратить казнь сына, но, когда это случилось, она хотя бы позаботится о том, чтобы его смерть не была напрасной. Она примет власть своей скорби.

Она поможет преобразить утрату. Через смерть сына она придаст жизни новый смысл. Своим путём она обеспечит его воскресение.

Мы знаем это нутром. Но евангелия этого не подтверждают. Удивительно — потрясающе — ни Матфей, ни Марк, ни Лука не выводят Марьям у креста, тем более — у погребения или воскресения. Вместо этого они показывают нам то, что Марина Уорнер метко назвала «путаницей Марий».

Есть Магдалина — единственная, кому дано почётное прозвище по городу, откуда она родом, Магдала. Есть Мария, мать Иакова и Иосии, есть Мария, жена Клеопы, — и, наконец, загадочная и до крайности интригующая фигура, возникающая у Матфея: «другая Мария».

Лёгкость этой формулировки ошеломляет — и в то же время кажется какой-то подлинной. Ни один сочинитель не оставил бы это без пояснений; ни один редактор не пропустил бы. Хороший рассказчик непременно «прибил» бы её к месту, пусть и второстепенному. Но не автор Матфея. Будто мы переключились на историю посередине, и все уже знают, кто такая «другая Мария». Автор забыл, что текст будут читать века спустя, на других языках и в других местах — вернее, он вовсе этого не осознаёт; потому и не утруждает себя точностью. В итоге она потерялась. Проскользнула сквозь ячейки истории без опознавательных примет — своего рода бедная родственница самой Марьям.

Это точно не Мария Магдалина — та названа вполне определённо. Это могла бы быть сестра Лазаря — та самая Мария из Марии и Марфы, — но тогда почему не сказать? Возможно, это Мария, чьё существование постепенно вычеркнули из евангелий, кроме этого одного упоминания похода. А может, «другая Мария» — выражение с сексуальным подтекстом, как «другая женщина». Или, наоборот, термин ничтожности: «ну та, как её там».

Неужто «другая Мария» — эвфемизм автора Матфея для обозначения Марьям, матери человека, висящего на кресте? Неужто она — всего лишь одна из «многих женщин, пришедших с ним в Иерусалим» у Марка? Но как же быть с тем, что у креста она появляется только у Иоанна — самого позднего из четырёх канонических евангелий и самого далёкого от неё по времени и месту?

Это кажется невероятным упущением. Почти оскорблением. И тем невероятнее, если понять: единственная по имени названная женщина, присутствующая у распятия во всех четырёх евангелиях, — Магдалина. Не дева, а грешница.

Это кажется вопиющей несправедливостью. Марьям должна быть там, в самом центре. Она должна была быть там всегда, а не ожидать, пока Иоанн поместит её туда почти через семьдесят лет. Как так случилось? Все эти картины «пъеты», все изображения скорбящей матери, держащей на коленях мёртвого сына, — неужели они показывают «не ту» Марьям? Неужели мы, веками, совершали акт коллективного бессознательного желания и подменяли то, что было, на то, что, по нашему мнению, должно было быть?

«Иезавель, Иезавель, блудишь под стенами святого города Божьего!»

Быть вот так окрикнутой разгневанным незнакомцем в прекрасное иерусалимское утро — не лучший старт дня. Этот мужчина средних лет, казалось, намерен был заклеить мои воображаемые грехи и на небе и на земле. Он шёл за мной, несясь с бранью, до самых стен Старого города, и лишь там повернул назад — верно, искать другую грешницу.

Он был, конечно, не в себе — но в манере вполне родственной месту. Он увидел женщину без платка, без парика, без какого-либо покрытия головы, как у религиозных: светскую женщину, идущую одна. Значит, я — очередная Иезавель, пришедшая осквернять святыню.

Он мог бы, однако, внимательнее изучить Библию. Блуд — не грех Иезавели. Она была не ни прелюбодейкой, ни проституткой, а царицей — израильской царицей, преданной языческому культу двадцать семь веков назад, за что пророк Илия противостоял ей и проклинал её. Её грех был религиозным, не сексуальным. Она предалась ложным богам.

На Ближнем Востоке обзывать кого-то «блудницей» — любимое ругательство, и в адрес мужчин, и женщин. Традиции веков. Еврейские пророки постоянно используют образ блудницы как парадигму неверности Яхве, обвиняя израильтян в «блуде» с иными богами. «Блуд», «прелюбодейство», «проституция» — всё это употребляется как синонимы «языческого служения», настолько, что, читая слишком буквально, можно решить: жизнь тогда была одним сплошным сексуальным разгулом.

Сексуальная метафора как средство унижения — традиция, пережившая века. Обвинения в «проституции» — или в том, что ты сын или дочь «такой» — привычные оскорбления и сегодня, кидаемые с тем же задором, что в американских гетто — четырёхбуквенные слова. Разница в том, что на Ближнем Востоке — как две тысячи лет назад, так и теперь — у них сильнейшая политическая окраска. На Западном берегу и в Газе радикальное исламское движение ХАМАС называет «проституткой» любую женщину, осмелившуюся критиковать его политику. Её истинный «грех» — тот же, что и в библейские времена: концептуальный блуд — отступление от единственно правильного пути веры. Грех обладания самостоятельным умом в мире, где политика оправдывается «волей Божией».

Магдалина — именно такая женщина: единственная среди последователей Иисуса, кто не обозначена через мужчину. Она не чья-то мать, сестра, жена или дочь. Как отмечает Сьюзен Хаскинс в её биографии, это, вероятно, женщина со средствами — одна из менее бедных последователей Иисуса и образец для многих женщин, которых Павел позднее особо отмечал в своих посланиях.

И всё же три евангелия впервые упоминают её только у распятия. Раньше она не появляется — и нет никакого объяснения, как и почему она занимает столь центральное место в решающий момент. Лишь Лука отмечает её ранее как женщину, «из которой вышло семь бесов». Изгнал ли их Иисус? Лука не говорит — а будь так, он, вероятно, показал бы сцену.

Это единственный намёк в евангелиях на смутное прошлое Магдалины и, мягко говоря, двусмысленный. Что это за «бесы»? Безумие? Болезнь? Или сломленное сердце? Восточно-

православное предание, отражённое в пересказе Хийра через каменную ограду Магдалы, говорит, что Магдалину бросил жених, уйдя за Иисусом, и она впала в отчаяние. Там её видят не женщиной «распутства», а женщиной покинутой — столь же согрешившей, сколь и согрешённой против неё.

И в самом деле, с чего кому-то решать по столь скудным данным, что она была проституткой? Евангелисты открыто говорят и о прелюбодеянии, и о менструации; не было причин умалчивать, если бы Магдалина была блудницей. Напротив, это стоило бы подчеркнуть, служа вестью: отвергнутые будут приняты, грешные — очищены.

На деле предполагаемая «грешность» Магдалины выросла по мере формирования самой церкви. Верному слову Павла, что «во Христе нет ни мужского пола, ни женского», ранние христианки проповедовали, пророчествовали, крестили и служили епископами и пресвитерами рядом с мужчинами — без «скверны» сексуальности. Так было во множестве христианских движений по всему восточному Средиземноморью. Но по мере утверждения ортодоксии, получавшей официальный статус и политический вес после обращения императора Константина, роль женщин резко урезали. Религия могла быть общим пространством, но политика — только мужским.

В том, что богослов Харви Кокс назвал «самой удачной попыткой в истории любого религиозного руководства направить, обезвредить и контролировать женскую религиозную символику», мощные женские образы урезали. Латинские богословы начали отождествлять Магдалину сперва с безымянной грешницей, помазавшей ноги Иисуса у Луки, затем — с прелюбодейкой у Иоанна и, наконец, с многомужественной самарянкой у Иоанна. Она стала своего рода вместилищем греховной сексуальности — зеркальным двойником назаретской Марьям. Пока одну запирали в привычный образ Мадонны, другую стягивали в не менее привычный образ блудницы.

Любые тексты, приписывавшие ей большую роль, хоронили, жгли или просто бросали, по мере того как ортодоксия навязывала себя. Евангелия, известные нам как первые четыре книги Нового Завета, — как пишет историк Кит Хопкинс, — «лишь малая часть раннехристианской истории. В их время у них было множество соперников — почти все ныне утрачены. Были местные традиции учения и практики, коллективная память в устной передаче, письменные источники — как те, которыми пользовались евангелисты, так и те, что они отвергли».

Но не всё утрачено. Гностические евангелия, найденные в 1945 году в Наг-Хаммади (Египет), а также ряд иных ранних текстов показывают хотя бы часть исконных ближневосточных традиций, подавленных при создании вселенской Римской церкви. Это, как бы то ни было, «альтернативные евангелия» — или, по названию одной антологии, «другая Библия». И одна из самых разительных особенностей — место, отведённое там Магдалине.

Она — та, что была ближе и дороже Иисусу, та, кого он любил более прочих апостолов и которого «целовал в уста». Она — его супруга, его возлюбленная. Гностическое «Евангелие

от Марии» — её евангелие, не Марьям; передавая особую мудрость, открытую ей Иисусом, она учит, а апостолы-мужчины могут лишь слушать и просить ещё.

Гностики почитали Магдалину как «апостола апостолов», ведь именно она первой засвидетельствовала воскресение — и именно она принесла благовест остальным. Этим она, по сути, становится первой христианкой. Ведь воскресение — сердцевина христианства. Краеугольный камень. Божественность требовала его — как требовали и многолюдные культы Великой Матери на всём Ближнем Востоке.

Раз за разом юные боги-мужчины — Осирис, Таммуз, Аттис — должны были быть принесены в жертву общему благу. Все должны умереть, чтобы вновь родиться они и земля. И всем возвращала жизнь великая женская божественность, попиравшая человеческие различия и одновременно бывшая девой, матерью и возлюбленной. Иными словами, одновременно — назаретская Марьям и Магдалина.

Две отдельные женщины постепенно стали одной. Хотя грекоязычные авторы Марка, Матфея и Луки не допускают Марьям к распятию и воскресению, писавшие на арамейском, коптском, армянском — языках Ближнего Востока — ставят её туда. Они следуют логике сердца и духу времени. Кто лучше засвидетельствует воскресение Иисуса, чем женщина, родившая его в первый раз? Отказать ей в этом — немыслимая жестокость. Марьям делает то, что все знали: она рождает своего сына — и хоронит своего сына.

«Мария приняла Иисуса зачатием и увидела ангела у его гроба», — писал лиричный богослов IV века Ефрем Сирийский. Армянский гимн того же времени ещё конкретней: «Она родила Сына и дала ему молоко своей груди; она сидела у его ног и служила ему, омывая их; у креста была рядом с ним, и при воскресении видела его».

Она даже становится всеми возможными Мариями. В «Двадцатой беседе», коптской рукописи, приписываемой Кириллу, архиепископу Иерусалимскому, Девы Марии является писцу и говорит: «Я — Мария Магдалина, ибо я родилась в Магдале. Моё имя — Мария Клеопова. Я — Мария Иакова, сына Иосифа плотника».

И в, пожалуй, крайнем «сплавлении Марий» — в Евангелии от Филиппа (III век) — сказано: «Трое всегда ходили с Господом: Мария, его мать, и его сестра, и Магдалина, коей называли его супругой. Ибо Мария была его сестрой, его матерью и его супругой».

Современное сознание отторгает такую всеобъемлемость. «Известно, что ранний христианский мир пребывал в неразрешимой путанице относительно Марий в евангелиях», — говорит богослов Роберт Мюррей. Но это путаница или слияние? «Каша из Марий» или множественность Марий? Если настаивать на чтении евангелий как истории — мы запутаемся. Если принять, что они писались как теология — смыслы выходят далеко за буквальное.

Антропологи, возможно, имеют здесь преимущество над историками. Исследуя широкий круг мифологий, Клод Леви-Стросс выделил паттерн «расщепления мифа», когда легендарная фигура разделяется на зеркальные образы или близнецов. Та же динамика,

похоже, заложена в структуру понятийного мышления. Мадонна и блудница, Эрос и Танатос, анимус и анима, инь и ян, свет и тьма, невинность и опыт — всё это диады, где каждая часть обретает полноту смысла лишь в паре с противоположной. Возможно, неизбежно, что, развиваясь, христианство подчинилось этой динамике: материнское отделилось от сексуального, назаретская противопоставилась магдалинской.

Две тысячи лет спустя, когда обе легенды закалились, само предположение, что мать и возлюбленная могли быть одной и той же женщиной, поражает. Мы настолько интернализировали разделение материнского и сексуального, что их сосуществование кажется невероятным. Но, конечно, оно существует. Быть матерью не значит отказаться от сексуальности. Материнское и сексуальное не взаимоисключающие: это разные грани женской жизни.

Видеть ли Магдалину как аспект самой Марьям или как её иную манифестацию? Как дополнение к Марьям или как антитезу? Окончательного ответа нет — и быть не может. Но, по-моему, думать в жёстких дуальностях — умалять обеих женщин, а по правде — всех женщин. Гностики ухватили большую истину: в самом реальном смысле каждая женщина у гробницы — Марьям; каждая — любящая, скорбящая мать; каждая — мудрая, собирающая мужество и решимость женщина, твёрдо настроенная, что это — не конец.

Мы никогда не узнаем, что именно произошло в гробнице, но знаем одно наверняка: там были женщины — и только женщины. Мужчины-ученики — все бежали.

Женщины положили Иисуса в гробницу, остались на страже, вернулись на третий день и возвестили о воскресении. Только они знали, что произошло. Это было их гносис — их сокровенное знание. Они открыли хотя бы часть его ученикам-мужчинам, а всем остальным оставалось принять воскресение на веру — именно на веру, как предмет веры. Или — как делают некоторые современные комментаторы — попытаться объяснить его теми, внезапно жалкими, инструментами логики и догадки.

Логика говорит: тело не могло просто исчезнуть. А если нет — значит, его унесли. Но куда и кто?

Автор Матфея предлагает некое объяснение. Первосвященники предупреждают Пилата: раз Иисус сказал, что восстанет на третий день, ученики могут «прийти и украсть его и сказать людям: “Он воскрес из мёртвых”». Пилат велит опечатать гробницу и поставить стражу, чтобы предотвратить это. Но когда всё равно происходит воскресение, первосвященники подкупают стражу сказать, будто последователи Иисуса действительно украли тело ночью. Стража держит слово, и, по Матфею, «до сего дня таков рассказ у Иудеев».

Это выглядит вполне «рабочей» версией — не в последнюю очередь, потому что не требует веры, лишь реалистического взгляда на продажный человеческий мир. Упрямые неверующие, «Иудеи», непременно поверят — чего ещё от них ждать? Матфей, должно быть, знал, что такая версия ходит, и преподносит её как ложную отговорку. Уже рассказывая, он делает всё, чтобы ей не поверили: заранее выводит её фальшью. И тем

самым делает исчезновение тела ещё более магическим — почти «гастролью Гудини» — добавив детали о печати и страже.

Но у Марка, евангелия, которое, по мнению учёных, написано раньше Матфея, ни стражи, ни печати нет. В самом деле, вряд ли Пилат распорядился бы о таких мерах. Даже если он знал об этой казни, что само по себе сомнительно, он счёл бы Иисуса ещё одним в длинном списке мелких досад: очередным смутьяном с манией величия. И остаётся неизъяснённым: зачем женщинам возвращаться в гробницу на третий день?

Марк показывает трёх женщин — Магдалину, Марию, мать Иакова, и Саломию, — как они несут масла и благовония, чтобы помазать тело. Но это делается прежде, чем класть его внутрь, а не через три дня, субботой между тем, или нет. Позднее Иоанн просто игнорирует противоречие: он пишет, что тело было помазано при обёртывании в саван, и не указывает, зачем Магдалина пришла на третий день.

Ещё основной: зачем кому-то вообще переносить тело? Как и в сегодняшнем еврейском законе, хоронить надо в тот же день. Каменная гробница, подаренная Иосифом из Аримафеи, была надёжным местом, каким только может быть. Образ самых преданных последователей Иисуса, бегущих ночью с его телом, — почти осквернение в лучшем случае, грабёж могил — в худшем.

И всё же именно в это нас пытаются заставить поверить некоторые из особо «разоблачительных» толкователей воскресения. Есть, видимо, непреодолимый соблазн «сыграть в детектива», предлагая построения столь натянутые, что любой уважающий себя автор детективов покраснел бы. Нас просили верить, например, что власти сами хотели похитить тело, чтобы пресечь слухи о воскресении, поэтому ученики опередили их, украли тело сами, а потом послали женщин на третий день, чтобы те «обнаружили» пустую гробницу. В других версиях ученики наняли двойника, чтобы он сыграл воскресшего, или неизвестного для роли «вестника», или фальшивого медиума. Одна теория и вовсе игнорирует ужас распятия и утверждает, будто Иисус был «не совсем мёртв», когда его положили в гробницу, что травы при помазании подействовали как лекарство, саван — как повязка — и он поправился.

От таких построений сильно пахнет отчаянием. Они явно говорят гораздо больше о тех, кто их выдвигает, чем о том, что же произошло. Мужчин-учеников они выставляют шайкой интриганов, а женщин — доверчивыми дуручками, обманутыми так, что те приняли «воскресение» вместо похищенного тела. Лучший случай — истерическое недоразумение, худший — мошенничество.

Вот что бывает, когда читаем евангелия как историю, а не как теологию. Мы обедняем величие метафоры и опускаем тайну тайн до плохенького детектива.

Конечно, буквальное воскресение физически невозможно. В этом и величие идеи. Но утверждать, что его определённо не было, не разумнее, чем утверждать, что оно определённо было. Суть воскресения — не буквальная, а метафорическая. Не физическая, а метафизическая.

Возможно, тело Иисуса действительно было тайком унесено его последователями ночью. Возможно, его забрали храмовые стражи, чтобы предотвратить легенду о мученике. Или, возможно, оно вообще «исчезло» лишь в повествовании, а не в действительности. Всё это возможно — и всё это в итоге несущественно. Для тех, кто упорствует в «фактах», разрешения не будет. Воскресение имеет смысл на ином уровне знания — превосходящем фактичность и уходящем глубоко в сердце и душу.

Когда Исис собирала все части тела Осириса, какие могла найти, и возвращала ему жизнь, ни один её поклонник не принимал этого буквально. Они инстинктивно понимали силу метафоры. Их утешала мысль, что в смерти есть назначение — что смерть — часть жизни, часть непрерывного круговорота бытия. Прежде всего они знали силу скорби, сохраняющей умерших живыми.

Любой, кто утратил супруга или ребёнка, знает: отсутствие умершего столь же ощутимо, как его присутствие, — порой даже больше. Физического человека нет, но дыра, которую он оставил в мире, несомненна — зияющая пустота почти осязаема. И пережившие знают: пока живы они сами, живы и те, кто ушёл. Они живут в сердцах, умах и снах тех, кто их оплакивает. Они живут в памяти.

Марьям, Магдалина и «многие другие женщины» знали, что сущность воскресения — не в плоти, а в духе: в человеческом духе. «Иисуса подняла любовь», — сказал великий историк религии XIX века Эрнест Ренан, и так оно и было. Больше всего мы горюем о тех, кого любим глубже всего. Материнская любовь Марьям, чувственная любовь Магдалины или верная, любящая вера прочих — вот сила, которая превращает скорбь в радость, отчаяние — в надежду, конец — в начало.

Стало быть, воскресит дух своего сына Марьям — и женщины вокруг неё — не скорбью, а любовью. Так они будут жить дальше. В этом — их мудрость.

Глава 10

В Новом Завете Марьям не стареет. Ей просто не дают такой возможности. После распятия она словно исчезает — так же, как до неё исчез Иосиф. Есть лишь единственная точка отсчёта в конце Евангелия от Иоанна: «Жено, се, Сын Твой», — говорит умирающий Иисус Марьям. «Се, Матерь твоя», — говорит он «стоявшему рядом ученику» — предположительно Иоанну, хотя нам уже известно, что все ученики-мужчины бежали. «И с того часа, — продолжает текст, — ученик взял её к себе».

Единственное другое послекрестное упоминание о Марьям в Новом Завете — всего лишь cameo в «Деяниях апостольских». Ученики возвращаются в горницу, где была Тайная вечеря, и молятся «вместе с некоторыми женщинами, и Марией, Матерью Иисуса». Это слово «вместе с» звучит поразительно небрежно; можно было бы подумать, что Марьям должна быть в центре такого собрания, а не упоминаться как запоздалая мысль.

Но если мы и не знаем, как понимать последнюю передачу заботы о матери от Иисуса к Иоанну, то по крайней мере более традиционный читатель получает уверение: нашёлся кто-то, кто присмотрит за ней и обеспечит ей кров. И действительно, в последующие три века один из направлений апокрифической письменности развил тему Иоанна и его приёмной матери, поселив их в Эфесе — порту на побережье того, что ныне северо-западная Турция. Этот город, должно быть, казался естественным выбором. Он был центром поклонения великой Артемиде Эфесской — многогрудой деве-богине плодородия, чей храм позднее был переосвящён в храм Марии; а в 431 году нашей эры именно там, в Эфесском соборе, Марию провозгласили Θεοτόκος — «Богородицей». Современные паломники поныне посещают небольшой каменный дом, где, как говорят, она жила.

Другие тексты селили Марьям с Иоанном в Назарете, а иные — как «Двадцатая беседа» — в Иерусалиме, где она умерла в неуказанную дату и была похоронена в долине Иосафата, под громоздкими стенами храма Ирода. Пустой монумент, известный как Гробница Марии, стоит там и сейчас — странно игнорируемый и туристами, и богословами.

Но вправду ли нам верить, что женщина, вырастившая столь откровенного и революционного человека, как Иисус, кротко исчезла в тени после его смерти? Можем ли представить, что она вернулась в Назарет доживать дни в будничных делах деревни — будто ничего и не произошло? Или бежала в Эфес без всякой причины, кроме как жить у Иоанна, словно не могла позаботиться о себе? Вообще — как поверить, что такая женщина вообще укрылась бы?

Она уже покинула Назарет, её узы с домом и роднёй ослабли после того, как односельчане отвергли проповедь её сына. Последние два года она странствовала с сыном и его последователями по дороге от Капернаума на северной кромке Галилейского моря до страшной цели — Голгофы. За это время спутники — особенно женщины — стали её новой семьёй: альтернативной, эгалитарной семьёй того рода, о котором говорил её сын, называя истинными своими родными тех, кто следовал за ним.

С этой точки зрения ряд апокрифических авторов предложили куда более реалистичные для Марьям возможности, чем тихая старость у Иоанна. Так, «Беседа Феодосия», архиепископа Александрийского, показывает её «живущей в Иерусалиме с несколькими девами», а также с апостолами Петром и Иоанном; «Омилия Евода», архиепископа Рима, говорит, что с Марьям после распятия жили несколько учеников, «как и Саломия с Иоанной и прочие девы, бывшие с нею».

«Жить с несколькими девами» — это откликается тому, что мы знаем о Марьям. Это, несомненно, те женщины, что стояли с нею на Голгофе. Они же распространили весть о воскресении и, как и сама Марьям, зашли слишком далеко, чтобы вернуться к так называемой нормальной жизни. Глубоко преданные учению Иисуса, естественно, что они теперь соберутся в новом типе общины — вокруг женщины, что вырастила и научила его. Под руководством Марьям они посвятят себя принципам справедливости и мудрости, соединят активизм с созерцанием и предложат приют и исцеление нуждающимся: женщинам и мужчинам, крестьянам и городским беднякам, мятежникам и отверженным. По сути, они создадут раннюю форму теологии освобождения.

В Иерусалиме, как пишет Феодосий? Некоторые другие апокрифы конкретнее: Марьям живёт и в конце умирает на горе Сион, сразу за городскими стенами Иерусалима. Эта традиция привела к возведению там изящного Аббатства Успения — название восходит к древнему эвфемизму смерти — «сон» (по-латински dormit — «уснула»).

Но Марьям предстояла целая жизнь, прежде чем она была готова «уснуть». И гора Сион — не место, где её жить. Прятать мятежников прямо у стен — безрассудно опасно; а вот одна из многих деревень, укрытых в холмах вокруг Иерусалима, — очень вероятно. Например, Эйн-Керем — «источник виноградника». В двух часах пешего хода к западу от городских стен его каменные дома, как и ныне, лепились по склонам глубокой долины, скрытые от мира и всё же доступные для «посвящённых».

Пусть будет эта деревня — с источником и лозами, с фиговыми, рожковыми и оливковыми деревьями, — потому что для меня она стала местом обновления много лет назад, в канун Нового года. Нас было четверо женщин в старом каменном доме, врезанном в склон; мы говорили и смеялись всю ночь, пока дети спали. Мы даже пропустили полночь. Лишь услышав первых птиц, поняли, как устали. Тогда, на рассвете, поднялись на плоскую крышу, сжатые в ладонях стаканы крепкого шалфейного чая согревали руки, и мы держали свой утренний дозор, встречая первое солнце нового года.

Так что именно в Эйн-Кереме Марьям начинает жизнь заново после распятия — не одна и не с Иоанном или Петром или кем-то из учеников-мужчин, а с другими ученицами: «многими женщинами, что пришли с ним в Иерусалим».

Марьям снова учится смеяться. Играет в прятки с детьми меж рядов лоз или вдоль каменных террас с оливами; и когда, запыхавшись, она чувствует восторг от усилия, её озаряет прекрасный парадокс: потраченная энергия — это созданная энергия. Тогда она понимает, что эти дети, рождённые здесь у женщин общины, — и есть истинное «воскресение плоти». Ведь что такое воскресение, как не надежда, вера в будущее? Эти женщины подарили ей новую жизнь.

Иногда она выходит с козами и овцами, с акациевым прутиком в руке — точно как в девичестве. Высоко на склоне вновь подбирает подол, чтобы ноги были свободны, и подгоняет животных знакомым гортанным «к-р-р». Магдалина говорит ей, что это не обязательно — это дело молодых, — но та отвечает: ей это нужно. Ей нужно чувствовать работу мышц, пот на лбу, в подмышках, струящийся по спине: физические знаки бодрости, жизни.

Каждую осень она высматривает приметы обновления: анемоны и цикламены, что пробиваются меж камней, готовые распуститься. Запоминает, где гуще всего растут полынь и рута, шалфей и фенхель; когда настанет пора, приведёт девочек и научит их, как когда-то учила её бабушка.

Трав здесь труднее сыскать, чем в более зелёных и мягких холмах Галилеи. И источники иные: они бьют у подножий крутых склонов, а не высоко на склоне. И всё же в этой

иудейской земле есть нечто глубоко удовлетворяющее. В ней есть суровость пустыни, но и её чистота. Зимние ночи столь остры, что взор Марьям будто делается яснее, тогда как палящий зной летних дней выжигает ясность в её мысли.

Высоко на склоне она оборачивается и смотрит вниз, на общину в долине, дивясь, как та выросла за пятнадцать лет. Тогда их было около двадцати — все беженки с Голгофы, каждая будто состарилась на целую жизнь за считанные дни. Теперь их больше сотни, и их дни определяет дух жизни её сына, а не его смерть.

Марьям любит каждую, как дочь. Они зовут её амма — «мать», так же как в родовом клане старшего мужчину зовут абба — «отец», — и она с благодарностью принимает это имя, хотя и говорит, что, как и она, все они — дочери: дочери Госпожи Премудрости. Через этих женщин лучшее из учения её сына принесёт плод и расцветёт. В духе Премудрости они будут держать его живым. И она знает — они продолжат дело, когда её не станет.

Она не знает, сколько ей осталось. Немного, верно. Ей теперь пятьдесят один; лицо глубоко исчерчено временем и опытом. Волосы давно поседели, а летом выгорают до серебристо-белых на солнце. Она всё ещё носит их одной свободной косой по спине, как всё ещё носит и тонкие льняные рубахи своей юности.

Как странно — быть старой. Она улыбается, вспоминая, каким невероятным казалось когда-то, что станет столь же почтенной, как бабушка. Юной крестьянке казалось, старые живут в иной стране — бесконечного опыта и мудрости. И лишь попав туда сама, она поняла то, чего нельзя понять в юности: границы между молодостью и старостью нет.

Сейчас она чувствует себя столь же молодой, как когда-либо, хотя мышцы устают быстрее. Возраст приносит иной вид силы. Хотите — умственной, хотите — духовной: не важно; она поддерживает её — и их всех.

Да, она уже достаточно взрослая, чтобы Магдалина ворковала над ней, отговаривая лезть по склонам за овцами и козами. Достаточно взрослая, чтобы стать почтенной — хотя она решительно отказывается, чтобы её почитали. Женщины уважают это. Для них она реальна, женщина из плоти и крови, как они. Если она — земное проявление Госпожи Премудрости, то и они — тоже. Она лишь жалеет, что ученики-мужчины не видят этого.

Иногда некоторые навещают — Пётр и Иаков, Матфей и Лука — идут в Эйн-Керем из своей небольшой общины внутри городских стен Иерусалима. Всякий раз они просят историй о жизни её сына до встречи с ним, но она видит: по-настоящему они не слушают. Истории уже сложились у них в головах, и если её слова не подходят — они её почти не слышат. В каком-то смысле для них она более не существует. Они приходят отдать почтение, но по-настоящему Марьям-женщину не уважают. Для них она стала знаменем, не человеком.

«Но я здесь», — хочется сказать ей. — «Коснитесь меня — я настоящая. Слушайте, это мои слова». Потом она заглядывает им в глаза и видит там жёсткость абсолютной убеждённости — и понимает: ничто её не изменит. Они вложат в её уста те слова, что сочтут верными. И, вероятно, в уста её сына — тоже.

Она полагает свою веру там же, где полагал её сын. Премудрость восторжествует. Не при её жизни, возможно, и не при жизни самого младшего ребёнка, рождённого в общине у источника виноградника. Но в конце концов — она улыбается одной лишь мысли об этом — через сотню лет, возможно, или тысячу, или две, или три...

На каменистом склоне она вздыхает и прислоняется к шероховатому, бороздчатому стволу оливы — «дерева света», как они его зовут, масло которого разгоняет тьму. Она помнит запах и дым горящих олив, когда была ребёнком — когда римляне вновь взяли Сепфорис и разрушили рощи. Помнит, как старики спокойно говорили: «Не бойся, маленькая; оливу не уничтожить. Подожди — увидишь». И верно: к следующему году вокруг обгорелых пней потянулись новые побеги. Деревья возвращались к жизни. Селяне бережно их проредили, оставив крепчайшие. К тому времени, когда Марьям родила, они уже могли дать первый плод.

Назореи знали то, чего не знали римские наёмники: оливы живут сотни, если не тысячи лет. Их можно срубить или сжечь, запустить или умышленно лишить воды — и всё равно, со временем, они оживут вновь. Их не убить. Они — абсолютный символ воскресения.

Некоторые деревья на этом склоне древние — как то, к которому она прислонилась. Другие ещё молоды — выращены из отростков, пересаживаемых женщинами при каждом рождении ребёнка. В пять лет ребёнка приводят сорвать первый плод нового дерева — сорвать доказательство обновления.

Множество таких ритуалов связывают их общину, вместе с песнями Мариам-пророчице исхода и свободы, приношениями Исиде — величайшей из дев, празднованиями Евы — матери всех. Но связывает их прежде всего практика: община существует не только для тех, кто уже здесь, но и для тех, кто, возможно, однажды захочет прийти. Это безопасная гавань, убежище для ищущих приюта, исцеления или обновлённой веры и жизни.

Марьям передала искусство и науку исцеления, и другие женщины теперь столь же умелы. Слава разошлась. Люди в боли и при хронических недугах — горожане и крестьяне — идут сюда лечиться. Раненых бойцов сопротивления родные или товарищи приносят сюда, чтобы выходить их: они остаются неделями, иногда месяцами — пока не станет безопасно уйти.

Женщины, которых били и насиловали; мужчины, которых сажали и пытали, — все находят здесь приют. Некоторые уже не уходят. Они пришли, чтобы их исцелили, и остаются, чтобы исцелять других.

Годы тяжёлой работы оставили след на лицах и телах узкого круга основательниц — не только Магдалины, Иоанны и самой Марьям, но и пророчицы Анны, и портнихи Тавифы, и вольноотпущенниц — *libertinae* — вроде Роде, и предпринимательниц вроде Лидии, торговавшей лазуритом — драгоценным пигментом из толчёного синего камня, что издалека, со Шёлкового пути. И других Марьям, разумеется: жены Клеопы, матери Иакова

и Зеведея, и Марии, сестры Лазаря, вместе с Марфой. Все они стареют, но глаза их сияют, как у девочек — живые и полные сил.

Марьям восхищается ими не меньше, чем любит — с тех пор, как они отказались распасться после распятия. Они сказали: так уже нельзя. После двух лет служения с Иисусом, когда они так сблизились, как можно бросить всё, за что он стоял? Как вернуться к «приличной» семье и респектабельности? Так Иоанна — жена высокого чиновника при иродианской казне, управлявшая всеми его имениями, как то часто бывало у знатных римлянок, — привела их в эти земли Эйн-Керема. «Здесь мы будем в безопасности», — сказала она. — «Отныне это принадлежит всем нам».

И, в каком-то смысле, Марьям ещё больше восхищают те, кто присоединился потом. Эти молодые женщины никогда не видели и не слышали её сына; они действовали одной верой. Среди них были проститутки и куртизанки, изнеженные городские жёны и трудолюбивые крестьянки, женщины самого низкого сословия и самого высокого тоже — как Калефа, дочь Никодима; Нешра, дочь знаменитого фарисея Гамлиэля; и Тавифа, дочь низложенного иудейского царя Архелая. Теперь все они — часть ученичества равных вокруг Марьям. Все — её сестры, все — её дочери.

Тени на склоне начинают удлиняться. Яркий дневной свет переходит в мягкое золото раннего вечера. Марьям и не собиралась сидеть так долго. Может, и правда начинает уставать. Она встаёт, вытягивает руки и спину. Слышит голоса, зовущие её снизу. Да, её благословили эти любящие женщины. Она думает об эссеях в пустынной твердыне у Мёртвого моря — «сыны света», как они себя называют, — они готовятся к апокалиптической войне с сынами тьмы. Здесь, в Эйн-Кереме, дочери света идут иным путём — понимания, исцеления тела и духа. Пока эссеи мечтают свергнуть храмовую иерархию и учредить свой новый, «чистый» храм, женщины знают: истинный храм — не мрамор и золото и вообще не материя, а ум. Это дух Премудрости. «Почитайте её в себе, — скажет вечером Марьям, — и друг в друге. Здесь начинается обновление».

Она улыбается и ведёт овец и коз с холма вниз.

«Мудрый» — слово нынче редкое. Можно быть смышлёным, можно — умным, можно даже — гением. Но мудрым? Это звучит не по-нашему — слишком и возвышенно, и расплывчато для «практичных» людей.

Однако во времена Марьям ничего расплывчатого в мудрости не было. Напротив. Значительная часть тогдашней иудейской теологии строилась вокруг божественной женской фигуры — Госпожи Премудрости. И у неё был весьма отчётливый голос. Она говорила прямо, в кавычках, в нескольких книгах, написанных иудейскими гностиками, жившими в Египте с III века до н. э.

Её еврейское имя — Хохма — абстрактная форма слова хахама, «мудрая женщина». Первое её появление — по крайней мере первое из известных нам — в Книге Притчей (III век до н. э.), где она нисходит из божественного мира, чтобы вести и спасти людей. Она была при сотворении мира, говорит она, прежде всего остального. Она возвещает своё величие,

грозит тем, кто её отвергает, требует и ожидает верности. Как проявлению Божьего присутствия в мире, ей это по праву. Она — женская ипостась Бога. И она действительно мудра.

В «Книге Премудрости» (I век до н. э.) её знание охватывает все науки её времени: физику, алхимию, астрологию, биологию, психологию, травничество и медицину. Она знает:

строение мира и свойства стихий,
начало, конец и середину времён,
смену солнцестояний и череду сезонов,
круговорот лет и расположение звёзд,
натуры животных и инстинкты диких зверей,
силы духов и умственные процессы людей,
виды растений и целительные свойства корней.

Книга продолжает восхвалять Хохму перечнем из двадцати одного качества — троекратно магической семёрки — делая её всем, чем может быть женщина и богиня: «Разумна, свята, единственна, многолика, тонка, деятельна, проницательна, незапятнана, светла, неуязвима, благожелательна, остра, непреодолима, благотворна, человеколюбива, стойка, верна, невозмутима, всемогуща, всевидяща, проникающая во всякий разумный, чистый и тончайший дух».

Порой её язык отражает величие современных ей гимнов Исиде; иной раз он очень близок чувственности «Песни песней». В «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» (II век до н. э.), часто называемой «Екклесиастиком», она говорит, что подобна лучшим лозам, сладчайшим цветам, прекраснейшим розам, самым высоким и стройным деревьям:

«Я издыхаю аромат корицы и акации, вдыхаю благоухание отборной мирры...
Подойдите ко мне, желающие меня, и насытитесь моими плодами,
Ибо память о мне слаще мёда, наследование меня — слаще сотов.
Едящие меня возжаждут ещё, пьющие меня возалчут ещё...»

И так и случилось. Спустя два века христианские гностики разовьют ранние иудейские тексты и вознесут Госпожу Премудрость ещё выше. Называя её греческим именем София, они прямо чтут её как великую Деву-Мать. В «Апокрифе Иоанна» она становится «невидимым, девственным, совершенным духом». Она зачинает сама себя и потому «Мать всего, ибо существовала прежде всех — мать-отец». Она — начало всего; без неё мира бы не было.

Неизбежно гностики, жаждущие божественного знания, отождествили Софию с первой великой библейской фигурой, жаждавшей знания: матерью всех людей Евой. Пока Адам довольствовался неведением, Ева осмелилась желать большего. Она сорвала и съела плод с Древа познания добра и зла. Гностики видели в этом стремление к познанию божественного — акт мужества и духовной цельности, а не непослушания. Ева — Премудрость в действии — настолько, что в «Евангелии о происхождении мира» она становится дочерью Софии, посланной матерью научить Адама, у которого нет души, чтобы он её обрёл.

Но главным ребёнком Софии в гностических евангелиях является Иисус — учитель и посредник Премудрости. Он показан как её сын, её возлюбленный, а в «Софии Иисуса Христа» — и как сама София. «Самые ранние палестинские богословские воспоминания и интерпретации жизни и смерти Иисуса понимают его как посланника Софии, а затем — как Софию», — говорит богослов Элизабет Шюсслер-Фьоренца. «Самая ранняя христианская теология — это софиология».

Этому не дали продолжиться. София была опасна властям. Она бросала вызов статус-кво: традиционному очернению Евы, священнической монополии на знание и прежде всего — разделению человеческого и божественного.

С точки зрения гностиков, вкушать Премудрость — значит не просто приобщиться к божественному, но усвоить его — и тем стать божественным самому. Это — предельное выражение учения Иисуса, что «Царство Божие внутри вас». Гностическое «Евангелие от Филиппа» говорит прямо: тот, кто достигает гнозиса — истинного знания — «более не христианин, но Христос».

Тем самым гностики стоят в длинной мистической традиции. Как учил Иоанн Креститель и как каббалисты разовьют более чем через тысячу лет, искра божественного есть в каждом человеке. Мы все потенциально божественны — убеждение, радикально бросающее вызов складывающейся церковной институции, как некогда — Ироду, когда это проповедовал Иоанн. Если божественное внутри каждого, к чему посредники? Зачем епископы, символы веры, каноны, предписанные обряды?

В последующей борьбе за власть анархическая мистичность гностиков не смогла тягаться с всё более политизированной и централизованной иерархией церкви. В 367 году н. э. могущественный александрийский епископ Афанасий распорядился очистить все апокрифы с «еретическими» наклонностями. Большая часть египетских гностических евангелий и трактатов была уничтожена. Оставшееся спрятали в пустыне, где часть свитков случайно обнаружат лишь через шестнадцать веков. Живое, динамичное присутствие Софии было подавлено — и всплывёт вновь лишь тогда, когда каббалисты возродят её как Шхину — мощное и сострадательное женское проявление божества.

Но во времена Марьям представить мир без Премудрости — без Хохмы — было бы невозможно. Она была буквально пословичной — её постоянно призывали. Иисус говорил о себе как о ребёнке Премудрости — о них всех как о детях Премудрости. И вот она — среди них. Ведь если когда и существовало воплощение Премудрости из плоти и крови, то это — сама Марьям: целительница, мать, мудрая женщина.

Амма, мать, — так они её называли. Если этот титул кажется необычным для лидера духовной общины, то лишь потому, что до наших дней он дошёл только в мужской форме — абба, что по-английски стало «abbot» — «аббат». Даже когда женщинам наконец позволили вступать в католическую монашескую жизнь, старшую среди них стали называть «аббатисой» (abbess) — женской формой «аббата», — делая её как бы «женским отцом».

И всё же *атта* была вполне привычным словом в первом веке, потому что женщины играли центральные роли во множестве верований по всему тогдашнему Средиземноморью. Поскольку божественное часто мыслилось женским, женщинами нередко были и те, кто его посредовал.

Верховные жрицы были знакомой фигурой. Они возглавляли культ великих богинь-матерей — Исиды и Кибелы; служили в императорском римском культе; управляли храмами богинь вроде Деметры, Коры и Афины. И это были отнюдь не одни лишь церемониальные должности. Как и высшие церковные посты сегодня, они сопрягали огромную мирскую власть с духовной — не в последнюю очередь потому, что включали контроль над колоссальными пожертвованиями. Эти деньги можно было ссужать или обращать в фонды; на них строили храмы и дворцы; ими спонсировали как религиозные праздники, так и светские — например, спортивные игры. Деньги работали тогда так же, как и сейчас. Подобно коммерческому лобби и спонсорству в наше время, щедрость кошелька давала гигантское влияние в политической жизни.

Самыми известными жрицами времён Марьям были весталки в Риме. Шесть служивших одновременно — женщины из элиты — были посвящены Весте, богине, хранящей очаг Рима. Вечный огонь в её честь символизировал не только сам римский народ, но и мужскую плодovitость.

Последняя деталь кажется несколько ироничной, ведь весталки действительно были физическими девами — по крайней мере, в принципе. Но всякие сравнения с монастырями и монахинями лучше отставить. Эти высокообразованные женщины были самыми свободными в мире своего времени. Они обладали широкими юридическими полномочиями, включая право даровать помилования — правом, которое принадлежало ещё лишь одному человеку: самому императору. Их наивлиятельнейшая роль — исполнители завещаний императоров и хранители иных важнейших документов — казначейских и военных. Это делало весталок ключевыми для плавной передачи власти от одного правителя к другому. Это же обеспечивало им огромные легаты как наследницам. Они жили в роскоши, с привилегиями уровня современных топ-менеджеров: лучшие места на аренах, охрана «императорского класса».

На другом конце шкалы женщины действовали и в куда более аскетичной форме созерцательной жизни, которую мы теперь называем монашеством. Самым известным тогда движением были не сравнительно малочисленные, мужчины-только ессеи у берегов Мёртвого моря, а куда более широкие и влиятельные Терапевты — иудейское монашеское движение с крупнейшей общиной в Египте, на берегах озера Мареотис близ Александрии.

Общины Терапевтов состояли из женщин и мужчин, живших, практиковавших и молившихся на равных, называя друг друга «братом» и «сестрой». Возникшие в I веке до н. э. грекоязычными иудеями, бежавшими от Хасмонеев и поселившимися в Египте, ко времени Марьям они создали общины по всему Ближнему Востоку. Женщины среди них были в основном вдовами или оставляли мужей ради созерцательной жизни. Их называли девами и дочерьми Мариам (Мириам), и один из их главных гимнов — ликующая песнь Мариам о свободе после перехода через Чёрное море в «Исходе».

Название движения было столь же показательно две тысячи лет назад, как и сегодня. Эти монахи и монахини славились мастерством в травах и врачевании, как и служительницы культа Исиды. Но их терапия была не только физической; она была психологической и прежде всего духовной. Терапевты были гностиками — грамотными и философски утончёнными, с сильно развитым чувством метафоры. Они видели мистический союз души с божественным как духовный брак и как форму перерождения: душа рождается вновь через союз со своей божественной матерью Хохмой, Премудростью, которую они называли «Вечной Девой».

Когда Иисус призывал своих последователей отказаться от кровных уз и видеть друг в друге братьев и сестёр, он несомненно имел в виду пример Терапевтов. И община сестёр вокруг Марьям в деревне вроде Эйн-Керема была бы самым что ни на есть «терапевтской»: и созерцательной, и действенной, не в бегстве от мира, а рядом с ним.

В её основе стояло бы крепкое ядро основательниц: не только сама Марьям, но и другие женщины, прошедшие с ней путь на Голгофу и — пусть слишком ненадолго — признанные апостолами. Так, гностический текст «Пистис София» («Вера-Премудрость»), где Иисус учит апостолов как Дитя и Посланник Премудрости, упоминает не двенадцать апостолов, а семнадцать. Марьям, Магдалина, Саломия, Марфа и её сестра Мария — все вместе, на равных с двенадцатью мужчинами. И, конечно, «Евангелие Марии» показывает Магдалину, обучающую апостолов-мужчин.

Подобно женщинам-Терапевтам, женщины в общине Марьям считали бы себя дочерьми Мариам — а по-арамейски, дочерьми Марьям. Ибо если Иисус — духовный сын Премудрости, то он также земной сын Марьям. Можно было видеть в нём ребёнка двух матерей — или понимать эти две матери, духовную и земную, как одну.

Со временем так и случится. На Марьям станут смотреть как на воплощение великого женского божества и начнут поклоняться ей как таковой. Но это будет задолго после её смерти — не при её жизни и не в её общине. Как и её сын, она думала бы о себе не как о божественной, а как живущей в духе божественного: дитя Премудрости, а не сама Премудрость. Дух ещё не был слит с физическим присутствием.

В первые годы того, что позднее назовут «движением Иисуса», быть его последователем значило не поклоняться ему, а трудиться ради того, что он проповедовал: духовного обновления среди иудеев, возвращения к более чистой этике и конца политизации храма. Его последователи были иудеями, верившими в него как в мудреца и пророка иудейского обновления. Они ещё не были христианами, ибо отдельной от иудаизма религии «христианство» не существовало. Павел ещё не начал своих путешествий и посланий. Он ещё не исполнил свой эпифанический поворот на дороге в Дамаск.

Прочтите послания Павла — по-настоящему, свежим умом — и вы поймёте, каким блестящим организатором он был. Это почти образец переписки современного политического организатора — или даже менеджера по продажам, вдохновляющего команду. Большинство писем начинается с благодарности тем, кто особенно потрудился в

последнее время, — с особо тёплого упоминания самых активных и самых щедрых. Затем следует изложение того, сколько ещё предстоит сделать. Далее — рассказ о собственных трудах и злключениях Павла. И наконец — павловская проповедь, ясно призванная вдохновить и поднять боевой дух.

Но что особенно заметно современному читателю — как много женщин Павел выделяет особо. Фива, диакониса общины в Кенхреях, несёт его послание к Римлянам, и он представляет её как свою покровительницу. Юния в Риме — «выдающаяся среди апостолов». Прискилла, Юлия, Персиде, Еводия, Синтихия — все названы соотрудницами, прославлены за труды. Прискилла — глава домашней церкви (все ранние церкви собирались в частных владениях и домах), как и Лидия из Фиатир и Нимфа из Лаодикии. И вообще, из двадцати восьми людей, которых Павел хвалит поимённо, десять — женщины.

Женщины занимали ведущие роли в раннем христианстве. И у нас есть свидетельства не только Павла. В «Деяниях апостольских» глава эбионитской (палестинской) церкви в Иерусалиме — главной местной иудейской группы, видевшей в Иисусе Мессию — это Мария, мать Иоанна Марка; именно к ней приходит Пётр возвестить, что ангел вывел его из темницы. Позже, в «Деяниях Павла и Фёклы» — популярном сборнике павловских легенд — Павел заслонён аристократкой Фёклой, которая отвергает богатство и безопасный устроенный брак ради куда более рискованной на то время жизни проповедницы.

«Во Христе нет ни мужского пола, ни женского», — пишет Павел Галатам, и на протяжении I–III веков ранние христианки воспринимают это буквально. Они становятся пресвитерами, пророчицами, проповедницами, диаконами и даже епископами — наравне с мужчинами и нередко впереди них.

Вопреки самим себе, такие богословы, как Тертуллиан, кажется, были ошеломлены и поневоле восхищены. «Эти еретические женщины — какие же они дерзкие!» — писал он. — «Нет у них стыдливости. Смеют учить, вступать в прения, совершать изгнания духов, браться за исцеления и даже крестить!»

Среди самых «дерзких» — тройка прославленных пророчиц во главе широкого монтанистского движения, возникшего во II веке в Малой Азии (ныне Турция). Их имена, звучные и певучие, — Прискилла, Квинтила и Максимилла. Под их руководством движение сосредоточилось на экстатическом пророчестве и исцелениях, возвращая столь харизматичных женщин, что скрытое восхищение Тертуллиана в конце концов взяло верх. Он присоединился к монтанистам в карфагенской общине, где писал: «Есть у нас сестра, которую благодать одарила откровениями, — она переживает их Духом, в экстатическом видении во время священных богослужений в день Господень. Она беседует с ангелами, иной раз и с Самим Господом. Она и видит, и слышит таинственные сообщения. Она различает сердца некоторых и получает наставления к исцелению нуждающихся».

Как и Терапевты до них, монтанисты чтят Еву как искательницу знания, Мириам как пророчицу и Софию как женское божество; в одном из их оракулов Иисус является Прискле в образе женщины и «влагает Премудрость» — Софию — внутрь неё. Но другие харизматические течения — валентиниане, карпократиане — сосредотачиваются не

меньше на земной матери Иисуса, чем на его духовной, постепенно сливая Марьям и Софию в образ женского божества. Когда главная учительница карпократиан, Марселлина, стала открывать тайные учения, полученные от Марьям, Саломии и Марфы, до выделения Марьям не просто для почитания, но и для поклонения оставался один шаг.

Мужчины не могли участвовать в обрядах и ритуалах колиридиан — движения, оформившегося в начале III века и быстро распространившегося по восточному Средиземноморью. Только женщины. Уже это делает колиридиан, пожалуй, самым интригующим из раннехристианских течений. Но было и больше.

Их имя происходило от греческого *koluris* — маленькой лепёшки или ячменного хлеба, который выпекали и ели как жертвенный дар в ритуале, древнем, как сама цивилизация. Хлеб до сих пор играет центральную сакраментальную роль и в иудаизме — субботняя хала и пасхальная маца, — и в христианстве — евхаристическая облатка, но в древних обществах его значение было куда «земнее». Его приносили великим девам-богиням плодородия — плодородие приносили в надежде на большее. Порой ритуальные хлебы или пироги пекли в форме человеческих гениталий — женских и мужских — в явной связке плодородия земли и человеческой плодovitости. Если это звучит экзотично, вспомните, что кое-что из подобных ритуалов сохранилось как обычаи. Хаманташн, к примеру — «уши Амана» на идише — треугольные маковые пирожки на Пурим, праздник спасения иудеев Эсфирью от персидского царя Ахашвероша и его злого советника Амана. Достаточно взглянуть на мак, высыпавшийся из тестяного «конверта», — и никакого Фрейда не нужно, чтобы считать символику. Имя Эсфирь — это, в конце концов, еврейская форма Иштар. Уместно, значит, что Иштар — одна из «гостей» яркого современного воплощения древнего обряда плодородия — инсталляции Джуди Чикаго «Обед» (*The Dinner Party*). Впервые показанная в 1979 году, огромная треугольная трапеза имеет тридцать девять нарядно-эротических керамических приборов — каждый назван именем знаменитой женщины.

Мы знаем, что хлебы колиридиан не имели эротической формы — иначе критики вроде Епифания, епископа Саламина IV века, взявшегося каталогизировать «ереси» своего времени, с восторгом ухватились бы за это. «Но хлеб — он и был хлебом, — пишет классик Стивен Бенко, — ‘плод Деметры’, священный Артемиде, Минерве, Юноне и всем великим богиням плодородия древнего мира. Ибо хлеб имеет грозную связь с Геей, землёй, в ‘лоне’ которой семя посеяно, дабы умножиться, вырасти и стать дарующим жизнь началом. В священной тайне хлеба всякая женщина могла видеть в себе долю созидательной силы богов, ведь в каждом акте соития, зачатия и рождения посев семени и чудо жизни и смерти повторяются вновь».

Но богиней колиридиан была уже не Артемидеа и не Юнона, не Исида, не Иштар и не Кибела. Это была Марьям. Они сделали логический следующий шаг в движении от Икиды к Хохме, к Софии, и закрыли разрыв между земной и духовной матерью. Марьям — мать божественного Сына. Значит, она — источник божественного и должна быть божественна сама по себе — последнее и высшее воплощение Великой Матери.

Тем самым колиридиане сыграли двойственную — ироничную — роль в становлении христианства. С одной стороны, они сделали новую религию гораздо более приемлемой для

почитателей иных образов Великой Матери, которым было немыслимо представить мир без женского божества. С другой — их успех содержал зерно их падения. По мере того как вселенская Католическая Церковь набирала силу в Риме, она не могла отрицать силу Девы, но могла её присвоить и ограничить. Марьям и Софию вновь разведут — синтез, так сказать, разрежут. Марьям станет святой, но не божественной, а асексуальная версия Софии — Дух Святой — займёт место третьей ипостаси в том, что многие гностики видели как изначальную троицу: мать, отец и сын.

Гностическое видение объявят ересью и подавят — почти наверняка потому у нас нет дошедшего «Евангелия от Марьям», хотя их, вне сомнения, писали. Во II–IV веках в обращении были сотни апокрифов. Многие были популярными «романами» своего времени, заполнявшими пробелы четырех канонических Евангелий ярким воображением. Мы и сейчас читаем евангелия, названные именами второстепенных персонажей Нового Завета — Никодима, Иосифа Аримафейского, — где их глазами рассказаны жизнь и смерть Иисуса. Даже Понтий Пилат получает апокрифическое слово в множестве текстов. И, конечно, Магдалина — героиня гностического «Евангелия Марии». Трудно вообразить, чтобы у Марьям не было возможности «заискриться» в собственном праве.

Можно ли поверить, что община женщин, живших с ней — да вообще кто-угодно, даже если бы это был один Иоанн, — не записала её воспоминаний и мыслей? Они жаждали бы тех подробностей детства Иисуса, что известны лишь матери, — не говоря уже о наставлениях женщины, научившей его, как теперь учила их. Они слышали бы её голос как голос Премудрости. Её слова запоминались бы, передавались другим и, в конце концов, записывались — пусть и преломлённые двойной линзой благоговения и легенды, — чтобы стать священными текстами для движений вроде карпократиан и колиридиан.

Некоторые учёные предполагают, что следы «евангелий Марьям» всё-таки тут и там проступают: в отрывках Матфея и Луки, где она фигурирует; в гностических «детских евангелиях» Иакова и Фомы. Но если это и так, то это действительно лишь следы. Едва слышно за ними голос реальной женщины — той, что давно умерла к моменту записи этих рассказов.

Но это не значит, что её голос не уцелел.

Мы всё ещё можем его слышать — не в «Евангелии от Марьям», а в сохранившихся гностических евангелиях, несколько из которых весьма вероятно написаны женщинами — учитывая их активную роль в ранней церкви. И, по правде, трудно представить, чтобы один конкретный текст мог быть написан кем-нибудь, кроме женщины.

«Гром, Совершенный Ум» («Thunder, Perfect Mind») написан женским голосом. Это голос женского божества во всей его дивной и грозной парадоксальности. Одни слышат в нём Премудрость, другие — Еву, третьи — саму Марьям. Думаю, лучше читать его как все три голоса сразу — в этом и смысл. Говорящая преодолевает разделения, создавая гармоничную, динамичную игру противоположностей. Она — как будто говорит она — все женщины, весь опыт.

«Услышьте меня», — настаивает она. И поскольку её слова — не евангелие, а оракул, их изначально задумывали для произнесения вслух, а не для тихого чтения. Протяните эти строки речитативом, даже спойте их, если решитесь, — и словно увидите, как Марьям улыбается, узнавая себя:

Посмотрите на меня, вы, кто размышляет обо мне,
и вы, слушающие, — слушайте меня.
Вы, кто ждёте меня, — примите меня,
и не изгоняйте меня из своего взора...
Не будьте неведущими обо мне нигде и никогда.
Не будьте неведущими обо мне.

Ибо я — первая и последняя.
Я — почитаемая и презираемая.
Я — блудница и святая.
Я — жена и дева.
Я — мать и дочь.
Я — члены собственной матери.
Я — бесплодная,
и многочисленны сыновья её.

Я — та, чья свадьба велика,
и я не брала мужа.

Я — повивальная бабка и та, что не рождает.
Я — утешение моих родовых мук.

Я — невеста и жених,
и это мой муж породил меня.

Я — мать моего отца
и сестра моего мужа,
и он — моё потомство...

Я — знание моего исследования,
и обретение ищущих меня,
и повеление вопрошающих меня,
и сила сил в моём знании
ангелов, посланных по моему слову,
и богов в их сроках по моему совету,
и духов всякого человека, кто существует со мной,
и женщин, живущих во мне...

Услышьте меня в мягкости и узнайте меня в суровости.
Я — та, что взывает,
и та, что извергнута на лице земли.

Я готовлю хлеб — и мысли мои внутри.
Я — знание собственного имени.
Я — та, что взывает,
и я же — слушаю...

В каком-то смысле Марьям посчастливилось умереть тогда, когда она умерла — за два десятилетия до начала четырёхлетнего восстания, завершившегося сожжением римлянами Иерусалимского храма в 70 году н. э. В том огне мир, который она знала, был бы полностью поглотан, а новый мир, который возник бы на его месте, несомненно опечалил бы её своей разъединённостью. Вера отделилась бы от народа, народ — от земли, и, быть может, трагичнее всего — люди друг от друга. Ибо если и был один-единственный перелом, приведший прямо к становлению иудаизма и христианства как двух религий, — это разрушение храма.

Большая часть священнической саддукейской элиты была вырезана, освободив путь фарисейскому движению. В последующие двести лет, сперва на средиземноморском побережье, затем в Галилее, их наследники заложили основы раввинистического иудаизма, который мы знаем сегодня. В отсутствие физического храма и перспектив его восстановления в обозримом будущем ранние раввины «интернализировали» саму идею храма, выстроив вместо него необъятное философское здание закона и этики — Мишну, а затем Талмуд.

Палестинские последователи Иисуса как пророка иудейского обновления были рассеяны в смуте после разрушения, но к тому времени организационный гений Павла создал быстро растущее неиудейское «движение Иисуса» по всему остальному Средиземноморью. Уже набирая силу, оно теперь возобладавало. Палестинский пророк стал Христом — божественным существом в эллинистическом образе. Его еврейство замылили, и, несмотря на то что Павел сам был фарисей (и, возможно, Иисус тоже, как полагают некоторые учёные), евангелисты сильно исказили роль фарисеев, чтобы избежать прямого обвинения Рима и тем самым не раздражать власти. Врагами выставили не римлян, а иудеев.

Так всегда бывает, когда группа отделяется от породившего её большего целого. Ранние протестанты — от католицизма; американские колонисты — от британского владычества: родительская группа становится оппонентом. И как Новый Свет определял себя против Старого, хотя и вырос из него, так и шестнадцать веков до этого Новый Завет стал определять себя против Ветхого. Иудеи отделились от христиан, а христианство — от своих иудейских корней. Разделение заняло место обновления, раскол — место преемственности.

Это наверняка разбило бы сердце Марьям — как и её сыну.

Но дух преемственности не исчез совсем. Он живёт — довольно ярко — в традиционных рассказах о смерти Марьям.

В апокрифической «Двадцатой беседе», например, Марьям призывает женщин своей общины к себе, когда лежит при смерти — очевидно, мирной и от старости. Когда все собираются, она берёт за руку Магдалину и говорит им: «Се, Мать ваша отныне».

Это прекрасный образ. В этом соединении рук мать передаёт избранной дочери. Дочь становится новой матерью, аммой, продолжая линию мудрых женщин. Мантия переходит от поколения к поколению — от Назаретянки к Магдалине, от матери к возлюбленной, от одной Марьям к другой.

В том же духе преемственности «Беседа» воссоединяет мать и сына. Она рассказывает, как, увидев, что Марьям умирает, Иисус сходит на землю с небесными ризами для неё. Она умирает — «и душа её взлетела в недра собственного сына, и он облек её в одеяние света», — и Иисус велит апостолам отнести её тело в долину Иосафата, где ныне стоит Гробница Марии. Через три дня он восходит на небо и берёт её с собой: «И пришёл великий хор ангелов и унёс тело Девы, а Пётр и Иоанн, и мы смотрели, пока её не вознесли на небо, пока не потеряли из виду».

И потеряли из виду мы все. Не только тело Марьям, но и саму женщину — её дух, её разум, её присутствие. Мария, которая возникнет затем, будет лишь тенью реальной женщины, столь бестелесной, что только в 1950 году, при Пие XII, Ватикан — с опозданием — догонит предание и провозгласит её телесное усение и взятие на небо.

Что же в самом деле случилось, когда она умерла? Думаю, можно сказать, что, как и с воскресением её сына, дух истории несёт больше правды — и, конечно, больше силы, — чем легендарные подробности. В этом духе Марьям умирает — но по-своему воскресает. Не самим Иисусом, не хорами ангелов, а женщинами, которых она любит. Её мантия передаётся следующему поколению — и будет передаваться так дальше, через поколения.

Каждый раз, когда женщина рождает, каждый раз, когда женщина сидит между колен другой и поддерживает головку рождающегося младенца, каждый раз, когда женщина поёт от радости или воет от горя, ищет знание или передаёт его другим, трудится ради справедливости или действует ради мира, рискует жизнью ради свободы — мантия Марьям передаётся.

В духе Марьям — мы все ею являемся.